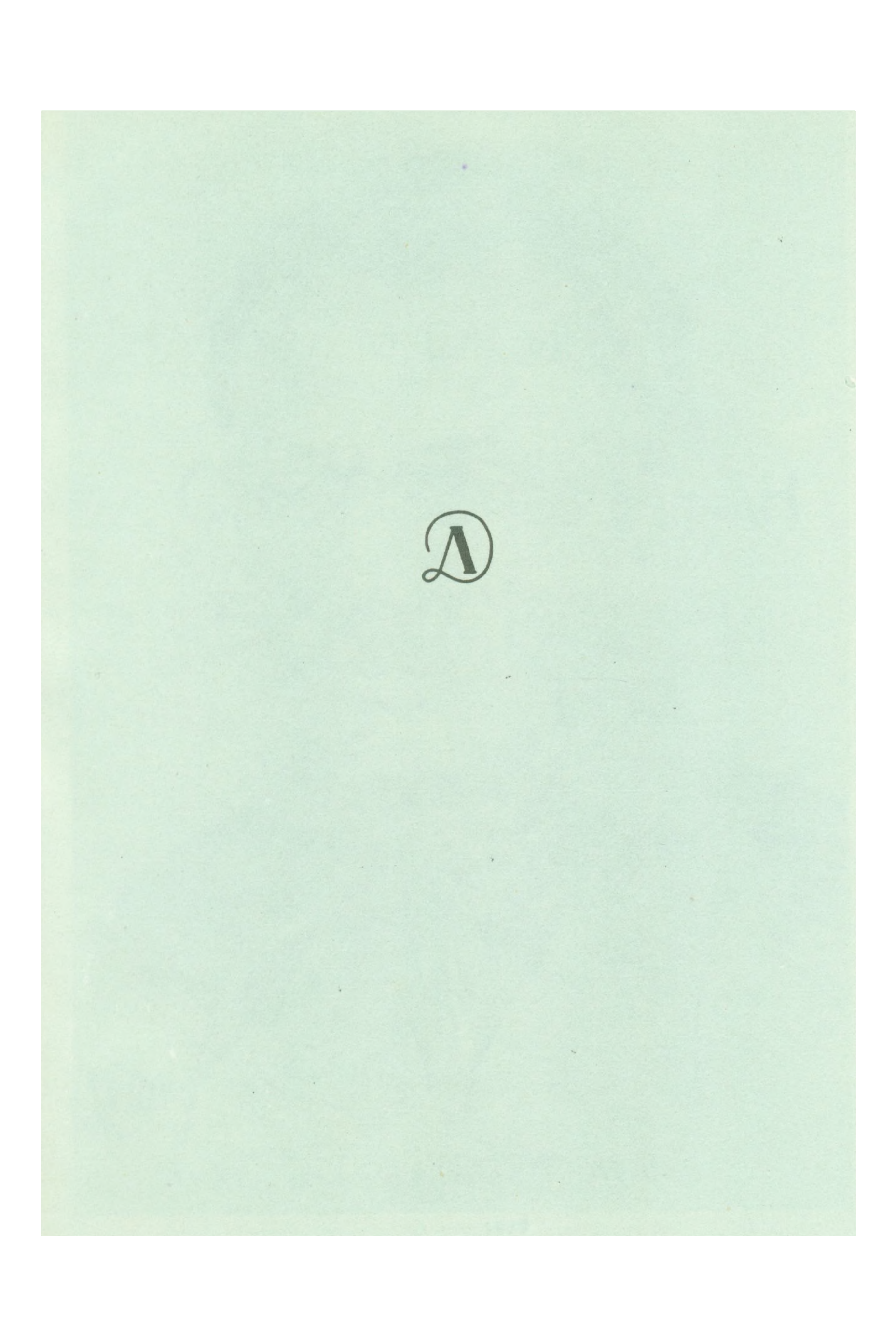
М. БАСИНА

# СКВОЗЬ СУМРАК БЕЛЫХ НОЧЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. БАСИНА • СКВОЗЬ СУМРАК БЕЛЫХ НОЧЕЙ






Ѳ.М. Достоевскій. 1847.
1847

П О   Д О Р О Г И М   М Е С Т А М

М. БАСИНА

# СКВОЗЬ СУМРАК БЕЛЫХ НОЧЕЙ

**Документальная повесть**

ЛЕНИНГРАД
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

8Р1 (092)
Б 27

Оформление Г. Губанова.

Натурные фотографии Б. И. Смелова.



70803—163
Б ——————— 56(р)—79
М101(03)—79

## Накануне отъезда

Федору впервые в жизни предстояло совершить столь длительное путешествие.

До десяти лет он из родной Москвы никуда не выезжал. Когда же ему исполнилось десять, отец его — штаб-лекарь Михаил Андреевич Достоевский — купил в Тульской губернии маленькую деревеньку. С той поры мир, окружавший Федора, несколько расширился — начали ездить весной в Даровое.

Мальчик любил эти поездки, ждал их с нетерпением. Дорогу проделывали за два дня в собственной поместительной, как дом, кибитке, которую приобрели у купцов, возивших в ней товары на ярмарку — «к Макарью». И на своих лошадях. За кучера брали мужика Семена Широких, считавшегося лучшим «наездником», знатоком и любителем лошадей.

Эти поездки приводили Федора в восторженное состояние. С разрешения папеньки он устраивался рядом с Семеном и с высоты облучка жадно и неотрывно глядел на дорогу, на новые места, простиравшиеся вокруг. На каждой остановке спрыгивал, чтобы обежать окрестности. И на его бледном веснушчатом лице от радостного волнения проступали пятна румянца.

Так бывало в детстве. А теперь? Хотелось ли ему отправиться в Петербург? Хотелось. Они с братом Михаилом рвались к новой жизни, несмотря на то, что карьера военных инженеров, которую избрал для них папенька, мало что говорила их уму и сердцу. Михаил сочинял стихи, Федор пробовал писать прозой. Но отец считал «бумагомарание» занятием пустым и неверным; иное дело — военный инженер.

И все же юношей манил Петербург. Со смертью маменьки семейственная жизнь утратила для Федора всякую привлекательность. Дом их осиротел, опустел, и вскоре — так складывались обстоятельства — его все равно предстояло покинуть. Семья другого лекаря поселится



М. А. Достоевский, отец писателя.
*Пастель Попова. 1823 г.*

в их тесной квартире во флигеле Мариинской больницы, другие дети будут спать в темной, отгороженной от передней комнате, где спали они с Мишей, с тех пор как помнят себя.

После недавней смерти маменьки папенька чуть ума не решился. Няня Алена Фроловна шепнула, что отец нехорош: разговаривает, как с живой, с покойницей Марией Федоровной, долго ли до беды...

Михаил Андреевич действительно оказался на грани безумия. Он и при жизни жены часто хандрил, пребывал в угрюмом и раздражительном расположении духа, а ныне, оставшись один с семью детьми, из которых младшей, Сашеньке, едва минуло полтора года, совсем потерялся.



М. Ф. Достоевская, мать писателя.
*Пастель Попова. 1823 г.*

Он не роптал, лишь вопрошал мучительно: «Каюсь, господи, — грешен. От тебя не таюсь. Не однажды одолеваем был бесом сребролюбия и гордыни. Но дети, ангельские души, невинные младенцы... За что они лишены попечительнейшей из матерей?»

Только теперь в полной мере осознал Михаил Андреевич, чем была для него покойная жена, что он потерял со смертью ее. Добрая, жизнерадостная, общительная, Мария Федоровна одна в целом свете горячо любила своего угрюмого мужа, ценя то хорошее, что открывалось ей в нем. Жилось с ним нелегко, но она жалела его, старалась успокоить, ободрить, отвратить от вечно мучивших его подозрений и предчувствий. «Да скажи мне, душа моя, — писала она Михаилу Андреевичу из

деревни, — что у тебя за тоска такая, что такие за размышления грустные и что тебя мучает, друг мой. У меня сердце замирает, когда воображу тебя в таком грустном расположении. Умоляю тебя, ангел мой, божество мое, береги себя для любви моей, вспомни, что я хотя и в разлуке с тобою, но боготворю, люблю тебя, единственного моего друга, более моей жизни. Дети нас любят и мы счастливы ими, чего же нам больше — богатства? Да составит ли оно наше счастье? Друг мой, умоляю тебя, отбрось все печальные думы...»

И вот ее не стало. Как тут было не впасть в совершенное отчаяние? А надо было жить, устраивать дела, заботиться о детях. Кое-как переломив себя, Михаил Андреевич решил выйти в отставку, уехать в деревню, взяв с собой маленьких. Шестнадцатилетнего Михаила и пятнадцатилетнего Федора отвезет он в Петербург в Главное инженерное училище. Андрюшу и Верочку отдаст в пансион. Старшую, Вареньку, звала жить к себе бездетная сестра Марии Федоровны — Александра Федоровна, жена именитого московского купца и коммерции советника Куманина.

Весною 1837 года подал Михаил Андреевич на имя государя прошение об отставке. Хоть был и не стар еще — сорок восемь лет, — здоровьем пошатнулся, да и не мог теперь оставаться в тех стенах, где все напоминало ему покойную Машеньку.

Прося об отставке, он ссылался на «ревматические припадки» и «крайнюю слабость зрения». «Изложенные припадки, особенно зрение мое, — писал Михаил Андреевич, — от постигшего меня удара, смертию жены моей, становится со дня на день худшим до того, что и с помощью стекол затрудняюсь в чтении и письме, а следовательно, нахожусь в невозможности продолжать впредь с должным рачением службу».

Постараться определить старших сыновей в петербургское Главное инженерное училище было решено еще при жизни Марии Федоровны. Лекарской карьеры отец для сыновей не желал, на себе испытав, что сия карьера значит.

Не на то он надеялся, когда пятнадцатилетним юношей самовольно бросил Подольскую семинарию, родной дом, семью, не захотел, как отец, стать священником и отправился пешком в далекую Москву. Сам определился в Московскую медико-хирургическую академию. Учился со старанием, терпя всяческие недостатки, будучи один как перст, без родных и друзей. Во время французской кампании, по надобности во врачах, командировали его в Московский Головинский госпиталь для пользования больных и раненых. Там по локоть в крови — резал, резал. Потом Верейский уезд, где свирепствовала «повальная болезнь». Потом Бородинский пехотный полк. Потом еще госпиталь. И наконец, Мариинская больница для бедных на окраинной Божедомке, с незавидным

жалованием шестьсот рублей в год. Если бы не практика, визиты к больным, хоть по миру иди с многочисленным семейством. Чины, ордена, деньги — для больничного начальства, а для них, простых смертных... «Новостей у нас нет никаких, император уехал, — писал Михаил Андреевич двумя годами раньше в деревню жене. — Он у нас был чрезвычайно доволен, императрица тоже, Рихтеру 2-ой степени Станислава со звездою, а нам, разумеется, ничего. Оттого я тебе и не писал ничего, впрочем, это так всегда водилось и будет водиться, овцы пасутся, а пастух доит молоко, стрижет шерсть и получает барыш».

Для детей Михаил Андреевич мечтал о лучшей доле. Эва, как все рты раззевают, когда в чистый больничный двор в своей двухместной карете цугом в четыре лошади с лакеем на запятках и с форейтором впереди въезжает сестрица Александра Федоровна. Форейтор кричит: «Пади! Пади!». По нынешним временам капитал великая сила. Сам не нажил, пусть дети наживут. Пусть выйдут в люди.

Для того и избрал Михаил Андреевич Главное инженерное училище, видя в нем путь к карьере, а следовательно, и к капиталу.

Ехать в Петербург решено было в мае.

Отъезд чуть было не задержался из-за болезни Федора. Что-то сделалось с горлом — он лишился голоса, говорил с трудом даже шепотом. Никакое лечение не давало результатов. Попробовали гомеопатию — и она не помогла. Делалось то лучше, то хуже. Тогда врачи посоветовали пуститься в путь, не дожидаясь полного выздоровления больного. Теплый майский воздух и новые впечатления должны оказать благодетельное действие.

И врачи не ошиблись. Дорога помогла. Но болезнь не прошла бесследно. С той поры голос Федора Михайловича так и остался глуховатым.

## Неожиданное препятствие

Он проснулся внезапно, как от толчка. В первую минуту не понял, где он и что с ним. Потом вспыхнуло: «Петербург, гостиница...»

Маленькая тесная комната была наполнена призрачным светом, лившимся из окна.

Он подумал, что уже утро, но в доме и на улице все было безмолвно, неподвижно и стояла та гулкая, чуткая тишина, которая бывает лишь ночью. Затаив дыхание, медленно, осторожно, чтобы, боже



Верстовой столб на Московском проспекте у Обуховского моста.
*Фотография.*

упаси, не разбудить отца и брата, Федор выбрался из комнаты и спустился по лестнице. Дверь была на засове. Отодвинул его. В лицо пахнуло свежестью, запахом воды.

Дворник спал тут же на улице у стенки дома на разостланном тулупе. Из полосатой будки, стоявшей возле моста, вдруг внезапно, как Петрушка из короба, выскочил лохматый, простоволосый будочник и хрипло спросонья заорал:

— Кто идет? Кто идет?

Верно, пригрезилось во сне ему нечто.



Набережная реки Фонтанки у Обуховского моста.
*Литография К. Беггрова. 20-е годы XIX в.*

Ответа не последовало. Ни единой фигуры не двигалось по набережной, и будочник скрылся столь же внезапно, как выскочил.

Федор огляделся. В неподвижной темной воде Фонтанки отражался Обуховский мост с каменными башенками и цепями. Баржи дремали на реке. Строгие линии и лепные украшения домов были отчетливо видны до мельчайших подробностей. Петербургская белая ночь, о которой он столько слышал...

Федор стоял и смотрел. Наконец, прозябнув, вернулся в гостиницу. Лег и заснул. Но часто просыпался, приподнимался порывисто и глядел в окно, будто хотел поймать ночь. Ночи не было. За окном парил все тот же прозрачный серебристый сумрак, придающий предметам странно-таинственный вид.

Приехав в Петербург с сыновьями, Михаил Андреевич остановился в скромной гостинице у Обуховского моста на Московском тракте, в отдаленной части города. Отсюда было далеко до тех



Белая ночь.
*Фотография.*

мест, куда надлежало им явиться, зато плата за жилье взымалась умеренная.

На другое утро по приезде, облачившись для торжественности в парадный мундир с высоким расшитым воротником, подпиравшим щеки, оставив Михаила и Федора вдвоем коротать время, наказав им далеко не отлучаться, дабы не заблудиться в незнакомом городе, отправился Михаил Андреевич в Инженерное училище. Помещалось оно в самом центре столицы, у Марсова поля, в Инженерном замке.

Прежде чем везти детей в Петербург, заблаговременно подал Михаил Андреевич через главного врача Мариинской больницы Рихтера, имевшего связи в столице, надлежащее прошение о зачислении старших сыновей в избранное им учебное заведение. Ответ пришел положительный. Надлежало успешно сдать конкурсные экзамены.

По малой осведомленности, Михаил Андреевич рассчитывал, что экзамены учинят незамедлительно и тотчас же определят детей к месту. И тут его ждало большое огорчение. Ему было заявлено, что экзамены

в училище проводятся в сентябре и что никто никакого исключения для него делать не станет. Привозите, мол, юношей к положенному сроку, а пока — наше вам почтение.

Обескураженный, расстроенный, вернулся Михаил Андреевич в гостиницу, толком не ведая, как поступить. Отпуск его больничный был невелик. В Москву призывали дела служебные и семейные. Что предпринять? Везти детей обратно? Решил обратиться с письмом к государю, прося в виде особой милости разрешить сыновьям держать экзамены до срока.

«В январе месяце сего года, — писал Михаил Андреевич, — по начальству осмелился утруждать Ваше императорское величество всеподданнейшим прошением моим по многочисленному семейству моему и по недостаточному состоянию об определении двух старших сыновей моих, Михаила 16 и Федора 15 лет, в Главное инженерное училище, на казенное содержание, хотя по положению в оное допускается один только. На такое прошение воспоследовало всемилостивейшее вашего императорского величества решение: что определение детей моих зависеть будет от выдержания ими установленного в том училище экзамена, почему и приказано мне доставить их для сего в С-т Петербург. По приезде ныне сюда с ними, узнал я, что по правилам оного училища допущение их к экзамену не ранее может последовать как в сентябре месяце. Состоя на службе при Московской Мариинской больнице, я получил от начальства моего отпуск на короткое время, единственно для устроения сыновей моих в выше помянутое училище; оставить же их на собственном иждивении я по недостаточному состоянию не имею никаких средств. В таковом положении моем осмеливаюсь пасть к стопам вашего императорского величества и всеподданнейше просить всемилостивейше повелеть допустить означенных сыновей моих к экзамену в Главное инженерное училище...»

Просьба уважена не была, и Михаил Андреевич уже собирался несолоно хлебавши забрать детей и ехать восвояси. Но тут получил совет от людей опытных, сведущих: сыновей в Москву не увозить, а оставить их в Петербурге, определив в пансион военного инженера капитана Коронада Филипповича Костомарова. Капитан Костомаров весьма успешно готовит юношей к поступлению в Инженерное училище, и не было еще случая, чтобы кто-нибудь из «костомаровцев» провалился на экзаменах.

Поразмыслив, прикинув что и как, решился Михаил Андреевич совету последовать. Объявил сыновьям, что оставляет их в Петербурге в подготовительном пансионе, с содержателем которого уже договорился, и что завтра же сведет их на новое место жительства. Этот расход был весьма накладен, но будущность детей стояла превыше всего.

## В пансионе капитана Костомарова

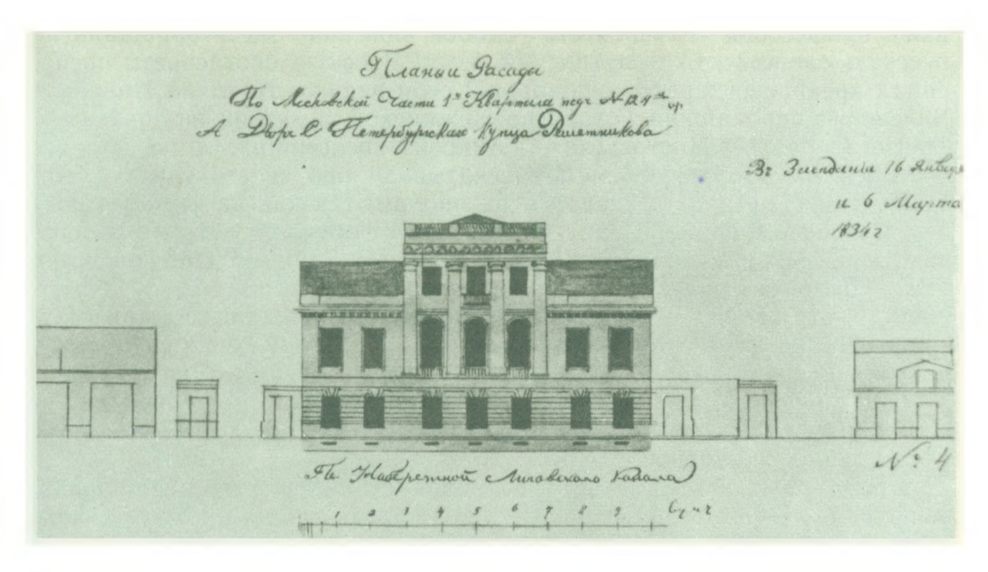
Пансион капитана Костомарова находился на длинном проспекте, прорезанном из конца в конец нешироким Лиговским каналом. Дом был двухэтажный, каменный, с мезонином. Принадлежал купцу Решетникову. У него и снимал помещение Костомаров. Кроме самого капитана и его семьи жили здесь воспитанники, которых теперь вместе с Михаилом и Федором насчитывалось десять.

С первого взгляда Костомаров — худой, высокий, с большими темными усами и сосредоточенным выражением лица — показался Федору суровым, мрачным. Но первое впечатление было обманчивым. Вскоре Федор понял, что Коронад Филиппович человек добрый, хоть и взыскательный, старавшийся наилучшим образом подготовить учеников.

Жизнь в пансионе текла размеренно, по часам. Федора это не тяготило. Иного не знал. Отец всегда придирчиво следил за тем, чтобы все в их доме шло по однажды заведенному порядку. И учиться помногу Федор тоже привык. Едва ему минуло четыре года, как отец усадил их с Мишей за книгу, не уставая твердить, что они бедны и единственное средство выбиться в люди — ученье.

Первоначальной грамоте обучала их маменька. Учила по-старинному: аз, буки, веди, глаголь. . . Но умела делать это так завлекательно, что ученье давалось легко. После нескольких уроков Федор уже с азартом выкрикивал неудобопроизносимые «бвра», «вздра» и тому подобное — двойные, тройные, четверные «склады». Первой книгой для чтения были переведенные с немецкого и приспособленные для детей «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового завета» с плохими картинками, изображавшими сотворение мира, Адама и Еву в раю, потоп и прочее. Когда Михаил и Федор осилили грамоту, в доме появились два учителя — огромный велеречивый дьякон и обходительный француз. Первый учил священной истории, второй — французскому языку. Спустя некоторое время Михаил Андреевич отдал подросших старших сыновей в полупансион, чтобы подготовить к поступлению в пансион, равный по курсу казенной гимназии.

Так как в полупансионе латыни не обучали, а язык этот требовался, учить сыновей латинскому взялся сам отец. Купил латинскую грамматику, и уроки начались. Бывали они каждый вечер и длились по часу и более. Михаил и Федор ожидали их с трепетом, смертельно боялись, шли как на казнь. Начать с того, что в отличие от других уроков при изучении латыни им запрещалось сидеть. Стой этаким истуканчиком, руки по швам, и гляди отцу в рот. Михаил Андреевич, как и следовало ожидать, оказался учителем нетерпеливым и раздражительным. Не дай бог запнуться, ошибиться. Сразу крик:




Дом купца Решетникова на набережной Лиговского канала, где помещался пансион К. Ф. Костомарова.
*С плана 1834 г.*

— Тупицы! Лентяи!

Случалось, отец вскакивал, швырял книгу на стол и, весь красный от негодования, не докончив урока, выбегал из комнаты, к огорчению матери, которая, наблюдая подобные сцены, грустно вздыхала.

Избавление от мучительных отцовских уроков пришло с поступлением в пансион.

Пансион этот существовал уже лет двадцать. Он был основан австрийским выходцем, чехом Леонтием Чермаком, попавшим в Россию по воле случая. Во время нашествия Наполеона сограждане избрали Чермака начальником добровольной стражи, охранявшей порядок. Однажды Чермак вступился за ограбленного крестьянина и вырвал ружье из рук французского солдата, не допускавшего его к офицеру. Строптивого чеха арестовали. И лишь благодаря заступничеству влиятельных лиц освободили, но с условием, что он покинет родину. Таким образом Чермак оказался в России и, ища себе занятие по душе, попросил разрешения открыть пансион «для благородных детей мужского пола». Сам он отнюдь не отличался образованностью, но сумел поставить дело так, что его пансион считался в Москве одним из самых лучших. Его учителя славились. В последних классах преподавали

даже профессора университета. Особое внимание здесь обращали на русскую словесность и латинский язык. Русскую словесность преподавал прекрасно зарекомендовавший себя педагог Николай Иванович Билевич — однокашник Гоголя по Нежинской гимназии высших наук. Третий из братьев Достоевских — Андрей — вспоминал, что «. . . братья с особенным воодушевлением рассказывали про своего учителя русского языка, он просто сделался их идолом, так как на каждом шагу был ими вспоминаем». И другим предметам обучали у Чермака основательно. Недаром теперь, от Костомарова, Михаил и Федор сообщали отцу: «Дела у нас йдут своим порядком хорошо. То занимаемся Геометрией и Алгеброй, чертим планы полевых укреплений: редутов, бастионов и т. д., то рисуем пером горы. Коронад Филиппович нами очень доволен и к нам особенно ласков».

Они приехали из Москвы с хорошей подготовкой, и все же им пришлось немало потрудиться, чтобы узнать все то, что требовалось для предстоящих экзаменов.

Кроме разных предметов требовался еще и фрунт: маршировка, выправка, ружейные приемы. «На фронт чрезвычайно смотрят, и хоть знай все превосходно, то за фронтом можно попасть в низшие классы», — писали братья отцу. Они очень старались.

Вскоре приступили и к фрунту. На ближайшем пустыре под любопытными взглядами зевак и соседских мальчишек десять юношей, подчиняясь отрывистой команде, маршировали, высоко вскидывая ноги, тянули носок, проделывали «эволюции» с палками, которые с успехом заменяли им ружья. Для обучения воспитанников фрунту Костомаров нанял опытного унтер-офицера.

Рассказывая в письмах отцу о своих занятиях, братья заключали: «Из этого вы теперь, любезный папенька, можете видеть, могли ли мы вступить без приготовления в Училище».

## Новые знакомства

По субботам и воскресеньям Костомаров давал своим питомцам отдых, гнал их на улицу — гулять.

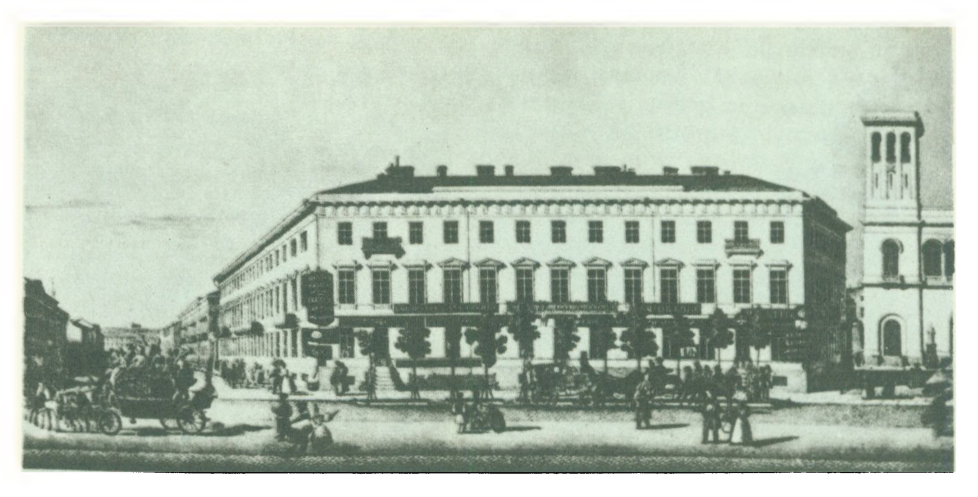
Погода стояла теплая, ясная — «итальянская», и Петербург в эти солнечные июльские дни был особенно хорош. «Погода теперь прекрасная, — писали братья отцу. — Завтра надеемся она также не изменится, и, ежели будет хорошая, то к нам придет Шидловский и мы пойдем странствовать с ним по Петербургу и оглядывать его знаменитости».



Набережная реки Мойки у дома, где умер Пушкин (дом третий слева).
*Фотография*

С Иваном Николаевичем Шидловским, закончившим Харьковский университет и недавно приехавшим в Петербург, Достоевские познакомились в гостинице. Шидловский служил в министерстве финансов, но душа его принадлежала другому — он писал романтические стихи, поглощен был литературой, метался, ища своей дороги в жизни, применения своим выдающимся способностям. Он был на пять лет старше Федора, но, разговорившись с юношей, изумился его начитанности, своеобразию его суждений, почувствовал в нем недюжиную натуру и заинтересовался им. Оба страстно любили Пушкина. Это их особенно сблизило.

Они вместе бродили по Петербургу, осматривали его. Первым делом братья попросили сводить их к дому на Мойке, где умер Пушкин. Еще в Москве и по дороге в столицу Федор мечтал увидеть это место. «...Мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина», — вспоминал впоследствии Федор Михайлович.



У книжной лавки Смирдина на Невском проспекте.
*Фрагмент Панорамы Невского проспекта. Литография П. Иванова с акварели В. Садовникова. 30-е годы XIX в.*

Пробраться в квартиру, конечно, не удалось, а возле дома постояли, зашли во двор и, справившись, которые окна кабинета Пушкина, где он скончался, долго смотрели на них, снявши шляпы.

Нет поэта, рок свершился,
Опустел родной Парнас. . .—

начал было Федор, но, смутившись, умолк.

— Продолжайте, прошу вас! — воскликнул Шидловский.

И Федор продолжал:

Пушкин умер, Пушкин скрылся
И навек покинул нас.
Север, Север, где твой гений?
Где певец твоих чудес?
Где виновник наслаждений?
Где наш Пушкин? — Он исчез!
Да, исчез он, дух могучий,
И земле он изменил!
Он вознесся выше тучей,
Он взлетел туда, где жил!

— Чье это? Не ваше ли? — поинтересовался Шидловский.

— Нет, что вы. . . Я стихов не пишу. По Москве ходило, ну и запомнилось.

— Есть лучше, гораздо лучше, — сказал Шидловский. — Ходит по Петербургу. Лермонтова.

И он с большим чувством прочитал «Смерть поэта».

Братья слушали как завороженные. Пушкин... Одно его имя заставляло Федора благоговейно трепетать. Смерть Пушкина была для него тяжелой утратой. «Не знаю, вследствие каких причин, — рассказывает Андрей Достоевский, — известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон маменьки. Вероятно, наше собственное горе и сидение всего семейства постоянно дома были причиною этому. Помню, что братья чуть с ума не сходили, услыхав об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор в разговорах со старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения носить траур по Пушкине».



Окна кабинета Пушкина со двора дома 12 по набережной реки Мойки. *Фотография.*

Осматривая Петербург, побывали на Невском с его роскошными магазинами, зашли в книжную лавку Смирдина. Дошли до набережной, изумлялись Адмиралтейству, любовались Зимним дворцом и просторами Невы. Опершись на нагретый солнцем гранитный парапет, наблюдали, как по глади воды взад и вперед от берега к берегу сновали лодки и ялики, перевозя желающих. По набережной вышли к Летнему саду с его знаменитой решеткой, вековыми деревьями и статуями. От Летнего сада рукой было подать до Марсова поля, где устраивались военные парады, и Инженерного замка.

За́мок братьев особенно занимал. Неужели они будут жить и учиться в этом здании, как вон те юнкера, похожие на игрушечных солдатиков, что так браво вышагивают на плацу перед огромными воротами?..

Хотелось узнать об училище побольше.

Вскоре представился случай получить о нем сведения из первых рук.

Однажды в воскресенье в квартиру Костомарова явился высокий стройный молодой человек, весьма приятной наружности, в черном

мундире и спросил, дома ли Коронад Филиппович. Костомаров был дома и не замедлил представить пришедшего ученикам:

— Мой бывший питомец Дмитрий Григорович, ныне кондуктор инженерного училища, прошу любить и жаловать.

Молодые люди перезнакомились. «В числе этих молодых людей, — вспоминает Григорович, — находился юноша лет семнадцати, среднего роста, плотного сложения, белокурый, с лицом, отличавшимся болезненною бледностью. Юноша этот был Федор Михайлович Достоевский».

Григоровича обступили и закидали вопросами. Он отвечал охотно и весело.

— Если бы не Коронад Филиппович, — рассказывал Григорович, — не видать бы мне училища как ушей своих. Я, должно вам сказать, господа, явился в этот дом с весьма смутными представлениями о российской грамоте. О прочем и не говорю. Обстоятельства моего детства были несколько необыкновенны. Отец умер рано, оставив меня в деревне на руках у матери и бабушки. Обе они — природные француженки, говорили между собой только по-французски. И со мною тоже. Русскую речь перенял я от мужиков. В Москве обучался в пансионе у иностранца. Кое-как выучился по-русски читать и писать. Когда речь зашла о моем будущем, матушка не знала, куда меня девать. Поехала в Петербург, намереваясь пристроить в пансион или в кадетский корпус. Но по дороге в дилижансе познакомилась с дамой, ехавшей в столицу с целью сделать своего сына инженером. Она-то и порассказала матушке об нашем училище, которое считается лучшим военным учебным заведением в России, уверила, что инженерная служба не так тягостна, как военная. Дама ехала договариваться с капитаном Костомаровым о приготовлении сына к экзамену. Матушка к ней присоединилась. Так я очутился в этом доме на попечении Коронада Филипповича. Что сказать? Он был для меня находкой. Я же для него... Два года он бился со мною и не раз, верно, думал: «Ну, этот обязательно провалится на экзамене и меня посадит!» А я не провалился. Даже я. Понимаете?

— Как же? Каким образом?

— Чудом... Нет, кроме шуток, ведь за два года я кое-чему выучился. К тому же мне повезло. Выручили французский язык и рисование.

— А страшно вам было, когда сдавали экзамены?

— Мне — очень. Да вы со мной не равняйтесь.

— А как все происходило?

— Ну, вошел я в залу. Длинный стол с красным сукном. За столом сам генерал Шаренгорст и множество офицеров. Всего толком не помню: поджилки тряслись, в глазах — туман. Помню голос Шаренгорста: «Как хорошо он говорит по-французски! Как хорошо!» И голос инспектора Ломновского на экзамене по рисованию: «Посмотрите, госпо-

да, как рисует! Молодец, видно, что хорошо учился!» Это и вывезло. А вы не робейте. Вы — дело другое: все, верно, превзошли. Костомаровцы. У вас не будет осечки.

— А ученье вам нравится? — спросил вдруг Федор.

— Да как вам сказать... — уклонился Григорович. — У меня другие стремления.

— Какие же, осмелюсь спросить?

— Вот встретимся с вами в училище, тогда и потолкуем, — пообещал Григорович. — А пока — до свиданья. До скорого свиданья, господа.

И Григорович помахал на прощанье рукой.

## «Ждем не дождемся экзамена»

Приближался сентябрь, а с ним и экзамены. Федор и Михаил поглощены были ими и только ими. «Теперь наши занятия утроились, — рассказывали братья отцу. — Самое время не поспевает за нами. Всегда за книгой. Ждем не дождемся экзамена».

Их вызывали в Инженерный замок для представления главному начальнику училища генералу Шаренгорсту и инспектору Ломновскому. Велели быть наготове.

Перед экзаменами всех поступающих осматривал главный врач училища доктор Волькенау.

Волькенау — лысый, розовый, с пухлыми пальцами — сперва выслушал и обстукал тощего Михаила, затем плотного Федора. Пощупал живот, велел показать язык. И сразу же на ломаном русском языке объявил, что у Михаила чахотка и допустить его к экзаменам не может.

Михаил всегда был здоров. Братья пытались втолковать это доктору. Но тот ничего не хотел слушать, повторяя свое:

— У молодого человека — чахотка. Он слаб здоровьем, и ему не под силу тяготы военной службы. От телесного напряжения он может пропасть, то есть умереть.

Федор пробовал запальчиво возражать, но Волькенау оборвал его:

— Молодой человек не должен рассуждать и спорить со старшими. Он, Волькенау, свое дело знает и не даст себя провести.

Без разрешения врача к экзаменам не допускали. Братья вышли из училища понурые и мрачные. Столько трудов, столько надежд, и вот из-за упрямства какого-то вздорного немца все идет насмарку. По дороге в пансион Михаил и Федор лихорадочно соображали, как же выпутаться из столь сложного положения, которое грозило множеством




Инженерный замок. Главный фасад.
*Фотография.*

неприятностей. Во-первых, разлукой. Во-вторых, отчаянием отца. В-третьих, неопределенностью для Михаила. Куда же ему теперь идти, если не в инженерное?

Федора особенно страшила разлука. Они с Михаилом никогда не расставались. Вместе росли, вместе играли, вместе учились. Федор не мог и не хотел себе представить, что однажды, проснувшись поутру, не увидит брата. Один, совсем один среди чужих людей. От этой мысли болезненно сжималось сердце. И все вокруг казалось враждебным и страшным. Надо что-то предпринять. Сейчас же. Не мешкая.

Посоветовавшись с Костомаровым, братья решили, что Михаил напишет обо всем отцу и попросит его помощи.

Они пришли к выводу, что странное заключение Волькенау было не случайно. «...Это была только пустая отговорка, — писал Михаил отцу. — ...Главная же причина, во-первых, должна быть та, что мы оба брата вступаем в один год, а другая та, что мы вступаем за казенный счет». Такое предположение не лишено было основания. По правилам действительно из одной семьи в один год в училище принимали лишь

одного кандидата. А тут сразу двое, да еще на казенный счет. Мест в училище было двадцать пять, кандидатов сорок три, и это многое объясняло. Но как помочь беде? Михаил просил отца переговорить с их добрым знакомым, экономом Мариинской больницы Маркусом. Брат Маркуса был придворным врачом, лейб-медиком самого государя. Если московский Маркус попросит здешнего, петербургского... «Главное дело теперь состоит в том, чтоб иметь свидетельство от какого-нибудь хорошего доктора, который бы поручился в моем здоровье. Кто же лучше может это сделать, как не М. А. Маркус. Он в Петербурге имеет большой вес. Притом же он в этом месяце, как слышно, должен быть в Москве. Одно его слово может переменить все дело».

В том же письме Михаил сообщал отцу, что Федор выдержал экзамены превосходно, лучше всех, но, несмотря на это, стоит в списке не первым, а двенадцатым. «...Вероятно, смотрели не на знания, но на лета и на время, с которого начали учиться. Поэтому первыми стали почти все маленькие, и те, которые дали денег, т. е. подарили. Эта несправедливость огорчает брата донельзя. Нам нечего дать; да ежели бы мы и имели, то верно бы не дали, потому что бессовестно и стыдно покупать первенство деньгами, а не делами».

И еще одно неприятное известие получил от сыновей Михаил Андреевич. Даже одного Федора отказались принять в училище на казенный счет, объявив, что вакансии нет и надлежит внести плату, и весьма немалую — девятьсот пятьдесят рублей ассигнациями. «Беда да и только! — огорчался Михаил. — Где же взять нам теперь 950 рублей... Боже мой, боже мой! Что с нами будет!»

Добиться принятия Михаила в училище так и не удалось. Он поступил в инженерные юнкера и вскоре был отослан служить и учиться в Ревель. Дело с платой за Федора утряслось. Выручила тетенька Александра Федоровна. Девятьсот пятьдесят рублей ассигнациями внес ее муж — Куманин.

## В Инженерном замке

Экзамены Федор сдал в сентябре, а явиться на занятия приказано было только в январе будущего, 1838 года.

Январь наступил, и Федор переселился с Лиговского канала от Костомарова в Инженерный замок.

Надел черный мундир с брюками навыпуск, с красным кантом, красными погонами, серебряными пуговицами, высокий кивер, украшенный красным помпоном, и стал именоваться «кондуктором». Так в отличие

от кадет называли будущих военных инженеров. «...Наконец-то я надел мундир и вступил совершенно на службу царскую».

Михайловский, или Инженерный, замок еще до переселения в него тревожил воображение Федора красотой архитектуры и романтической своей историей.

Построен был замок в самом конце XVIII века, всего за три года, по приказу царя Павла I.

Видя всеобщее недовольство своим деспотическим правлением, опасаясь за свою жизнь, Павел с крайней поспешностью решил возвести для себя неприступное убежище, в стенах которого мог бы укрыться. Потому приказал сломать творение Растрелли — чудо архитектуры — деревянный Летний дворец близ Марсова поля и Летнего сада, в самом центре Петербурга, — и на его месте построить замок-крепость, окруженный широким рвом, наполненным водой, и связанный с внешним миром разводными мостами.

Замок строил архитектор Бренна по чертежам гениального Баженова. Павел так торопился, что для нового замка не пожалел разобрать незаконченный огромный дворец в Пелле на Неве, парковые павильоны в Царском Селе и другие здания.

И вот Михайловский замок был построен. Но только сорок дней прожил в нем тиран. Бледной весенней ночью, с согласия сына Павла, будущего царя Александра I, титулованные заговорщики совершили дворцовый переворот. Павел был задушен в собственной опочивальне.

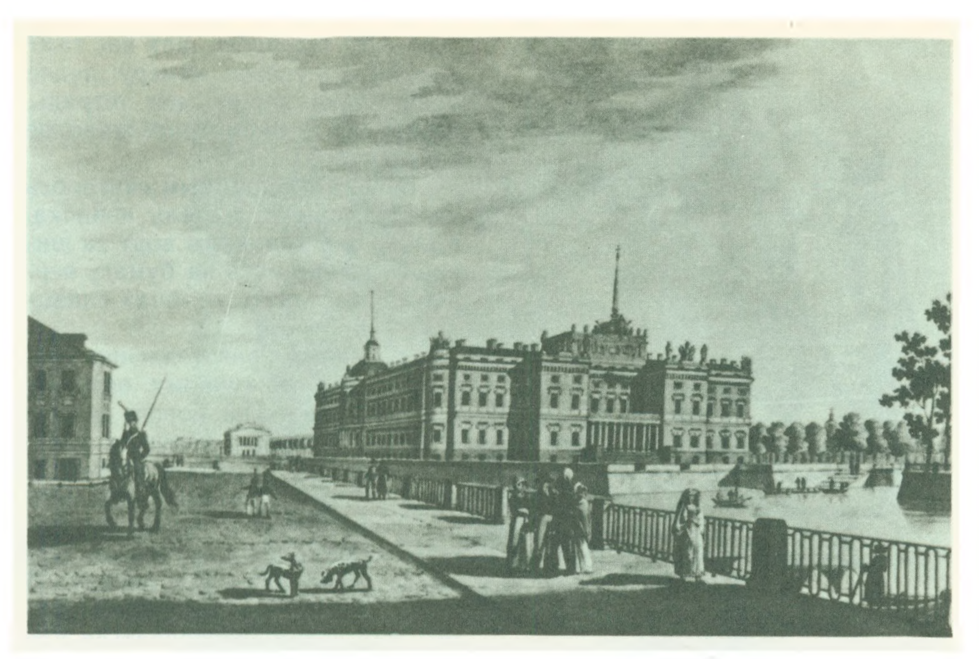
Многие свидетели этих событий были еще живы. Жив был и последний смотритель — кастелян Михайловского замка, один из петербургских «чудодеев» — сварливый старик Брызгалов. Он ходил по улицам в старинном павловском мундире, треугольной шляпе, высоких ботфортах, с пудреной косой и длинной тростью. Федор не однажды встречал его на Невском и в Летнем саду.

Историю замка знали все его нынешние обитатели — от юных кондукторов до старых солдат-служителей. И каждый вновь поступавший узнавал ее сызнова.

Уже в первые месяцы своего пребывания в Петербурге Федор, гуляя возле Михайловского замка, внимательно рассмотрел его. Глядел и дивился. И было чему. Колонны и скульптура, порфир и мрамор. Благородные пропорции и разнообразие во всем. Каждый из четырех фасадов дворца не походил на другой, и все поражали красотой и великолепием отделки.

Теперь он, Федор Достоевский, жил в этом здании. Что нашел он здесь, в залах и комнатах, еще во многом сохранивших следы былой роскоши? Гнетущую атмосферу военного учебного заведения, жестокие нравы, укоренившиеся и в этом, лучшем из военных училищ.

За малейшее упущение начальство строго взыскивало. За расстег-



Инженерный замок.
*Литография. 20-е годы XIX в.*

нутый воротник или пуговицу сажали в карцер, ставили у дверей на часы с ранцем за спиной и с тяжелым ружьем в руке. Причем ружье не разрешалось опускать на пол.

А тут еще свои же товарищи сживали со свету. Жизнь новичка была не лучше каторги. Он получал прозвище «рябец» («рябчиками» тогда военные презрительно называли штатских) и должен был выносить всевозможные издевательства, изобретаемые «старенькими» — теми, кто проучился уже несколько лет.

При встрече со «стареньким» у новичка душа уходила в пятки: пронесет или прицепится? А мучитель начинал:

— Вы, рябец, такой-сякой, принялись, кажется, кутить?

— Помилуйте. . . я ничего. . .

— То-то ничего. . . Смотрите вы у меня!

И щелчок в нос или пинок в спину.

Со всех сторон понукания:

— Эй, вы, рябец, сбегайте туда-то, сделайте то-то. Да побыстрее, а не то я вас!



Бывший смотритель Инженерного замка Брызгалов.
*Рисунок А. Орловского. 20-е годы XIX в.*

— Эй вы, рябец, как вас там? Ступайте в третью камеру; подле моей койки лежит моя тетрадь, несите сюда, да смотрите живо, не то расправа!

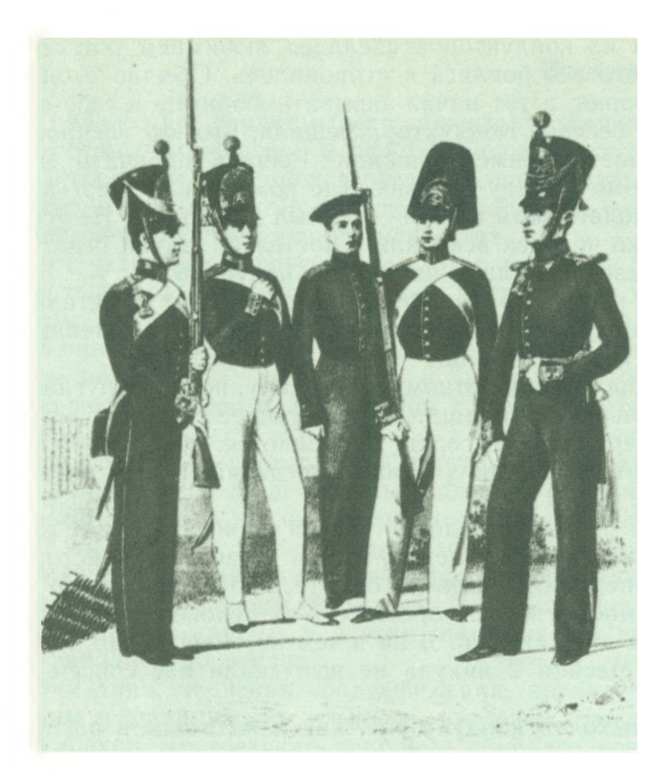
Весьма остроумным считалось налить воды в постель новичка, вылить ему холодную воду за шиворот, выплеснуть на бумагу чернила и заставить «рябца» слизывать.

Во время приготовления уроков стоило дежурному офицеру удалиться, как на пороге одного класса, в дверях, ведущих в соседний, ставили стол и заставляли новичков пролезать под ним на четвереньках. С другой же стороны их встречали кручеными жгутами и хлестали куда попало. И боже упаси, если «рябец» заплачет или вздумает отбиваться. Его так изукрасят, что один путь — в лазарет. И там обязан молчать и объяснять свое увечье тем, что споткнулся, разбился, упал с лестницы. Иначе — несдобровать.

«О товарищах ничего не могу сказать хорошего», — писал Федор отцу.

Конечно, не все «старенькие» вели вебя подобным образом. Находились благородные юноши, возмущавшиеся преследованием новичков. «Один из кондукторов старших двух классов, — рассказывал Григорович, — вступился неожиданно за избитого, бросился на обидчика и отбросил его с такой силой, что тот покатился на паркет. На заступника наскочило несколько человек, но он объявил, что первый, кто к нему подойдет, поплатится ребрами. Угроза могла быть действительна, так как он владел замечательной физической силой. Собралась толпа. Он объявил, что с этой минуты никто больше не тронет новичка, что он считает подлым, низким обычай нападать на беззащитного, что тот, кому придет такая охота, будет с ним иметь дело. Немало нужно было для этого храбрости».

Начальство прекрасно знало обо всем происходящем, но закрывало на это глаза, полагая, что раз так заведено, не нам менять. Сами воспитатели прошли тот же путь. К тому же опасались огласки. «Безус-



Форма воспитанников Иженерного училища.
*Литография. 40-е годы XIX в.*

ловно, винить начальство за допущение своеволия между воспитанниками было бы несправедливо, — считал Григорович. — Не надо забывать, что в то время оно находилось, более чем мы сами, под гнетом страха и ответственности».

В царствование Николая I страх был всеобщим. Сановники боялись царя, мелкая сошка дрожала перед «значительными лицами», солдат приводил в трепет один вид командира, крестьяне от мала до велика страшились помещиков. Училищное начальство не составляло исключения.

Только в крайних случаях, когда происходило нечто из ряда вон выходящее, сор выносили из избы.

В училище существовал свой кодекс чести. Величайшим преступлением среди воспитанников считалось шпионство, доносы начальству.

Как-то один из кондукторов сделался любимцем ротного командира Фере, которого все боялись и сторонились. Обычно и он ни с кем ни о чем не говорил, а тут начал зазывать любимца к себе на квартиру и вести с ним беседы. Кондуктора решили, что это неспроста. Заподозрили неладное: любимец — шпион. Решили проучить его. Однажды ночью в огромную залу-спальню, где помещалось шестьдесят человек, вошел предполагаемый шпион — он был дежурным. Не успел он войти, как несколько человек вскочили с постелей, задули огни, накинули на вошедшего свои одеяла и избили до полусмерти.

На шум прибежал дежурный офицер. Его встретили картофельной бомбардировкой — закидали картофелем, сбереженным от ужина. Уговоры не подействовали.

Офицер бросился к ротному командиру, но тот испугался и побежал будить начальника училища. На следующее утро всю роту выстроили. Пришел генерал Шаренгорст. Здоровается. Молчат. Вскоре приехал начальник штаба военно-учебных заведений. И ему не отвечают. Неповиновение! Бунт!

Царь сам разбирал подобного рода происшествия и жестоко карал за них. «У нас в Училище случилась ужаснейшая история, которую я не могу теперь объяснить на бумаге, ибо я уверен, что и это письмо перечитают многие из посторонних. 5-ть человек кондукторов сосланы в солдаты за эту историю. Я ни в чем не вмешан. Но подвергся этому наказанию. Месяца 2 никуда не выпускали нас совсем невинных из Училища».

Буйные выходки кондукторов, как и жестокость расправы с ними, были равно отвратительны. Федор болезненно переживал всякое унижение человеческого достоинства и потому сторонился и товарищей, и начальства.

Пребывание в училище ему давалось нелегко. Не только потому, что он был еще «рябцом».

В одном из писем отец просил Михаила: «Уведомь, доволен ли Феденька своим теперешним состоянием. Ты писал мне, что он скучает тем, что надобно становиться во фронт перед офицерами. Скажи ему, чтобы он не скучал, ибо это неизменный устав воинской службы, а лучше всего, чтобы он себя поставил на месте офицера, я полагаю, что ему было бы приятно, если бы низшие воздавали ему честь, а более всего, что тот, кто не умеет повиноваться, не будет уметь и повелевать».

Михаил Андреевич плохо знал своего сына. Федор не желал ни повиноваться, ни повелевать. И то и другое ему было равно ненавистно.

## Всегда с книгой

Главное инженерное училище было учреждено для того, чтобы готовить военных инженеров и офицеров-саперов, которым предстояло строить и совершенствовать оборонительные преграды на обширных границах Российской империи, возводить крепости по правилам новейшего военного искусства.

В отличие от кадетских корпусов в училище не было и быть не могло пренебрежительного отношения к науке, преклонения перед одним только фрунтом. Науку здесь почитали. Преподавателей подбирали прекрасно знающих свой предмет и уже зарекомендовавших себя на педагогическом поприще.

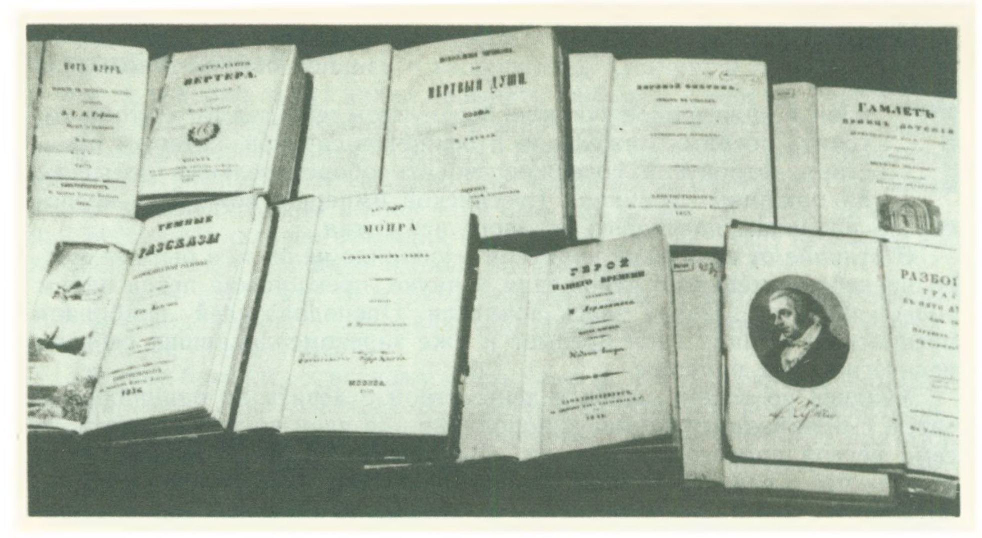
Учились по восемь часов в день: утром с девяти до одиннадцати, затем с одиннадцати до часу; пополудни — с часу до трех. С пяти до семи вечера приготовляли уроки. «Вообразите, — рассказывал Федор отцу, — что с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекциями. Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже ни минутки, чтобы следить хорошенько на досуге днем слышанное в классах. — Нас посылают на фрунтовое учение, нам дают уроки фехтования, танцев, пенья, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец ставят в караул, и в этом проходит все время».

День был заполнен до отказа.

Кроме математики, черчения, фортификации, артиллерии занимались российским и французским языками, историей, географией.

Кондуктор Федор Достоевский исправно обучался всем инженерным премудростям, но влекло его к другому. Именно то, что считалось здесь второстепенным, для него было главным. Каждую свободную минуту, а такие все-таки выбирались, проводил он с книгой, поглощая романы, драмы, стихи, — творения лучших русских и иностранных писателей. «Сближение мое с Ф. М. Достоевским, — рассказывает Григорович, — началось едва ли не с первого дня его поступления в училище... Ему радостно было встретить во мне знакомого в кругу чужих лиц, не упускавших случая грубо, дерзко придраться к новичку. Федор Михайлович уже тогда выказывал черты необщительности, сторонился, не принимал участия в играх, сидел, углубившись в книгу, и искал уединенного места; вскоре нашлось такое место и надолго стало его любимым: глубокий угол четвертой камеры с окном, смотревшим на Фонтанку; в рекреационное время его всегда можно было там найти, и всегда с книгой».

Федор пристрастился к чтению сызмальства. Книги в семействе Достоевских пользовались уважением. Мария Федоровна зачитывалась романами. Едва только дети подросли, в свободные вечера, когда




Круг чтения Ф. М. Достоевского в училище.

Михаилу Андреевичу не приходилось заполнять «скорбные листы»—истории болезни, — он брал книгу и, сменяемый Марией Федоровной, читал детям вслух. Любимым писателем был Карамзин. Михаил Андреевич предпочитал его «Историю государства Российского», Мария Федоровна — чувствительные повести: «Бедную Лизу», «Наталью, боярскую дочь» и другие. Вскоре Михаил и Федор тоже начали читать в очередь с родителями.

Так прочитаны были «Описание жизни Ломоносова» Ксенофонта Полевого, оды Державина, баллады Жуковского, «Юрий Милославский» Загоскина, «Ледяной дом» Лажечникова, «Семейство Холмских» Бегичева, «Сказки казака Луганского», сочинение Даля. Последние книги были новинками. Михаил Андреевич сам покупал их и приносил детям. Когда Федор подрос, он полюбил Вальтера Скотта, исторические сочинения и романы. Но всему этому и он, и Михаил предпочитали стихи Пушкина. Многое из Пушкина знали наизусть и горячо отстаивали его в спорах с родителями, которые высшими авторитетами считали Карамзина, Державина, Жуковского, а к Пушкину относились с некоторым сомнением. По их мнению, он был еще молод и недостаточно серьезен.

Как-то Федор и Михаил, чтобы доказать превосходство своего любимца, выучили наизусть и прочитали родителям один — «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, другой — балладу Жуковского «Граф

# Списокъ

## 3-го Кондукторскаго класса

на основаніи годичнаго экзамена 1839 года

| по старшинству | по списку | полный баллъ — Фамиліи | 10 — Средній баллъ | Заключеніе Конференціи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Перебаскинъ | 9.7. | Первыхъ 26 человѣкъ перевесть во 2-й Кондукторскій классъ. Хотя 1 Перебаскинъ имѣетъ балловъ 9.7. но Конференція, во уваженіе особеннаго прилежанія и отличныхъ его успѣховъ, полагаетъ на классныхъ спискахъ выставить ему полныхъ 10 балловъ. |
| 4 | 2 | Кокушкинъ | 8.7. | |
| 8 | 3 | Достоевскій | 8.9. | |
| 3 | 4 | Ветровъ | 8.9. | |
| 2 | 5 | Ольдоровъ | 8.7. | |
| 7 | 6 | Григоровичъ | 8.6 | |
| 9 | 7 | Кондратьевъ | 8.4. | |
| 10 | 8 | Скальскій | 8.3. | |
| 5 | 9 | Толстой | 8.1. | |
| 21 | 10 | Кавpайскій | 7.9. | |
| 6 | 11 | Тотлебенъ | 7.8. | |
| 25 | 12 | Патонъ | 7.8. | |
| 12 | 13 | Карцовъ | 7.8. | |
| 11 | 14 | Тарновскій | 7.7. | |
| 15 | 15 | Витковскій | 7.7. | |
| 16 | 16 | Барановъ 2 | 7.6. | |
| 14 | 17 | Звѣздкинъ | 7.4 | |
| 20 | 18 | Андреевскій | 7.3. | |
| 17 | 19 | Ногинъ | 7.2. | |
| 19 | 20 | Радіоновъ | 7.2. | |
| 24 | 21 | Кандарскій | 7.1. | |
| 18 | 22 | Васильковъ | 7.1. | |
| 13 | 23 | Безобразовъ | 7.0. | |
| 26 | 24 | Фашенмоленъ | 7.0. | |
| 22 | 25 | Шемяковъ | 6.9. | |
| 29 | 26 | Офенбергъ 2 | 6.4. | |
| 20 | 27 | Обрюковъ | 6.7. | Оставить ихъ тамъ же въ классѣ на другой годъ. |
| 27 | 28 | Тишеновскій | 6.1. | |
| 31 | 29 | Масловъ | 5.7. | |
| 30 | 30 | Соболевъ | 5.5. | |
| 28 | 31 | Трефуртъ | 5.1. | |
| 32 | 32 | Кравицкій | 4.5. | |

Инспекторъ Подполковникъ Баронъ Дельвигъ.

Генералъ Маіоръ [illegible]

Из архива Инженерного училища. Список 3-го кондукторского класса. 1839 г. Достоевский значится под номером три.



«Окно Достоевского» в Инженерном замке.
*Фотография.*

Габсбургский». Родителей это не переубедило, хотя Федор из себя выходил, доказывая достоинства «Вещего Олега».

Чтение было любимым занятием Федора и тогда, когда он учился в пансионе Чермака. «Мне потом не раз случалось встречаться с лицами, вышедшими из пансиона Чермака, где получил образование Достоевский, все отличались замечательною литературною подготовкой и начитанностью», — говорил Григорович.

И теперь в училище Федор не расставался с книгой, предпочитая ее всему — играм в городки, «загонки», «бары», танцам и другим развлечениям.

Видя столь странное поведение, товарищи поначалу смеялись над ним, называли чудаком, монахом, давали разные прозвища. А потом пригляделись и оставили в покое. Нашлись и такие, которые полюбили его, прониклись к нему уважением, захотели сблизиться. В сыне скромного штаб-лекаря было чрезвычайно развито чувство собственного достоинства. Не он искал друзей — его дружбы искали. Достоевского постоянно видели с воспитанником старшего класса Бережецким. Этот юноша из состоятельной семьи, любивший пофрантить, щеголявший

часами, бриллиантовыми кольцами, располагавший всегда деньгами, ловил каждое слово Федора, относился к нему как ученик к учителю. Когда другие играли на плацу или танцевали, Достоевский и Бережецкий гуляли вдвоем по камерам — то есть спальням — и беседовали. Бывал с ними и Григорович. И еще двое кондукторов присоединились к их кружку — Витковский и Бекетов. «...Я не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию, — вспоминал Григорович. — Оно, надо сказать, было для меня в то время в высшей степени благотворно. Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением. До него я и большинство остальных наших товарищей читали специальные учебники и лекции, и не только потому, что посторонние книги запрещалось носить в училище, но и вследствие общего равнодушия к литературе».

А Федор жил литературой, питался ею.

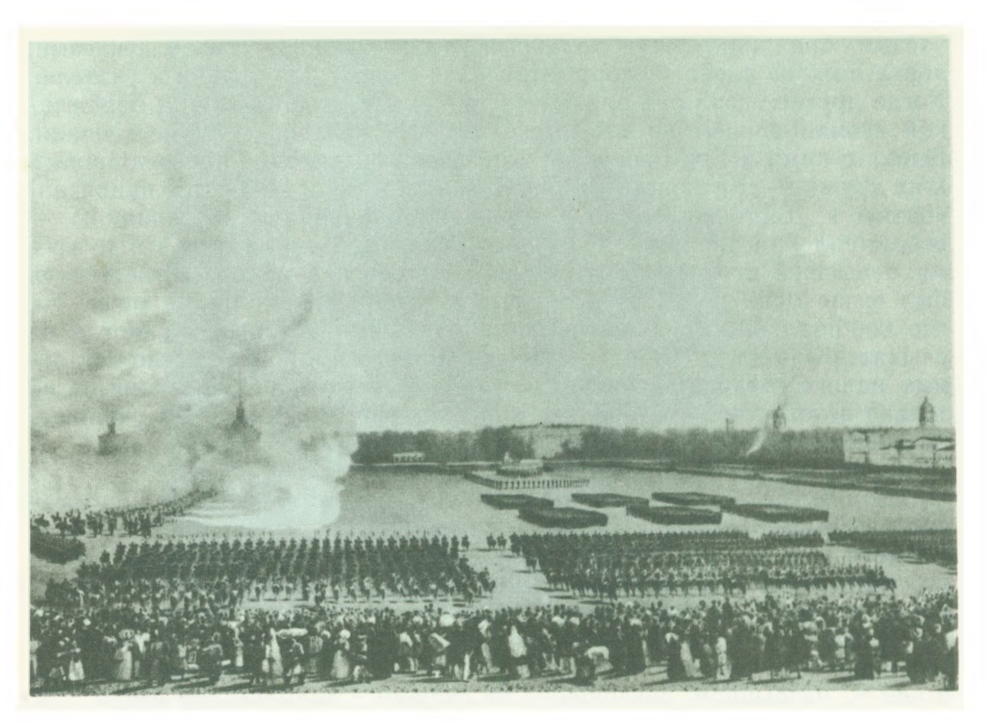
Если бы ротный командир заглянул в письмо кондуктора Достоевского к брату Михаилу, у него бы от изумления глаза на лоб полезли. «У меня есть прожект: сделаться сумасшедшим. — Пусть люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным. — Ежели ты читал всего Гофмана, то наверно помнишь характер Альбана. — Как он тебе нравится?»

Жизнь для Федора как бы раскололась надвое. Одна половина — математика, черчение, шагистика. Другая... Юный романтик мечтал о чем-то необычном, совершенно не схожим с размеренной серой повседневностью, окружавшей его.

## «Во фрунте нет солнца!»

В июне 1838 года Федор жаловался отцу: «Пять смотров великого князя и царя измучили нас. Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардиею маршировали церемониальным маршем, делали эволюции и перед всяким смотром нас мучили в роте на ученьи, на котором мы приготовлялись заранее. Все эти смотры предшествовали огромному, пышному, блестящему майскому параду, где присутствовала вся фамилия царская и находилось 140 000 войска. Этот день нас совершенно измучил».

Огромный пышный парад на Марсовом поле, или, как его продолжали называть по-старинному, Царицыном лугу, устраивали раз в году в мае. Но повседневная мучительная для Федора муштра являлась неотъемлемой частью училищной жизни.



Майский парад на Марсовом поле.
*Литография. 30-е годы XIX в.*

Их выстраивали на плацу перед замком. Унтер-офицер командовал:

— Ра-аз!

Надо было вытянуть правую ногу. Затем слышалась команда:

— Два-а-а!

Надлежало медленно поднять ногу, вытягивая носок, и стоять подобно аисту, пока не последует:

— Три!

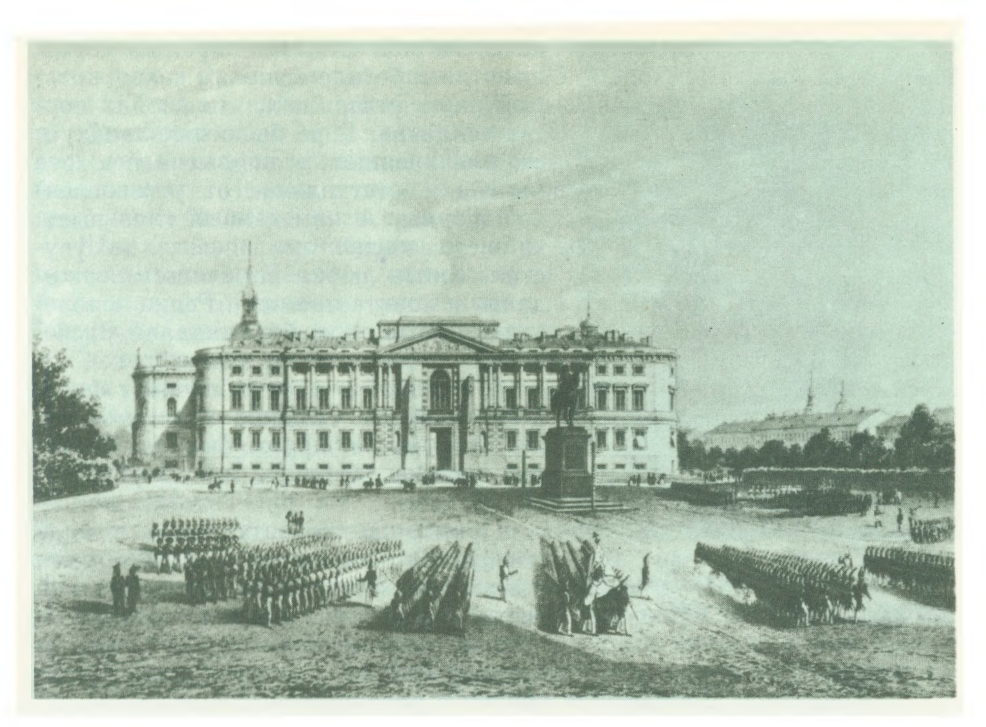
Если кто-нибудь, стоя на одной ноге, качнется, — сразу же команда:

— Отставь!

И все начинается сначала.

Когда выдали им ружья и началось обучение ружейным приемам, кое-кому это нравилось. Федор же считал это бессмысленной тратой времени.

На ученье обычно присутствовали офицеры. И вот строй поворачивается лицом к солнцу, оно слепит глаза, заставляя невольно щуриться,



Ученья на плацу у Инженерного замка.
*Литография по рисунку И. Шарлеманя. Середина XIX в.*

а штыки колебаться. Офицер, заметив это, топает ногами и кричит вне себя истошным голосом:

— Смирно! Во фрунте нет солнца! Нет солнца во фрунте! Смирно, говорю вам!

Для стоящих в строю солнца не существовало. Фрунт был свят, и ничто, даже силы природы, не должны были нарушать его. Да, фрунту придавали огромное значение. Это шло с самого верху — от царя и великого князя Михаила Павловича. Еще живя у Костомарова, сообщая отцу о предстоящих занятиях фрунтом с унтер-офицером, Федор и Михаил прибавляли: «. . . этим одним мы можем выиграть у его высочества Михаила Павловича. Он чрезвычайный любитель порядка».

Генерал-инспектор военно-учебных заведений, младший брат царя великий князь Михаил Павлович, действительно чрезвычайно любил «порядок», понимая его как безукоризненную выправку, идеальную линию равнения, предельную стройность маршировки. Не боевые



**Великий князь Михаил Павлович**
*Акварель неизвестного художника. 30-е годы XIX в.*

качества войск, а плац-парадное совершенство заботило великого князя, который даже утверждал, что «война портит солдата». Горе было начальнику и его подчиненным, если замечалось хоть малейшее отступление от установленной формы. А наметанный глаз высочайшего инспектора ничего не упускал. Князь любил появляться неожиданно и ловить промахи. Редко появление его обходилось без скандала, распеканий, арестов, розог для солдат.

В отличие от других военных школ, в Инженерном училище воспитанников не секли, но все другое бывало. Поэтому смотров боялись как страшного суда.

Примерных воспитанников в виде поощрения назначали ординарцами к великому князю. Удостоившись такой чести, Федор раз попал в неприятную историю. Назначили его. Он явился и отрапортовал:

— Кондуктор Достоевский явился в распоряжение вашего превосходительства.

Сказал и обмер. Надлежало — «вашего высочества», а он — «вашего превосходительства».

— Присылают же таких дураков, — заметил Михаил Павлович и по всей форме распек и училищное начальство, и незадачливого ординарца.

После майского парада Инженерное училище выступило в лагеря. Тридцать верст от Петербурга до лагеря проделывали походным маршем. Этот переход можно было бы счесть прогулкой, если бы не ранец за спиной, лядунка — сумка для патронов — через плечо, непременные для саперов кирка и лопатка, которые при каждом шаге немилосердно колотили по ляжке. И еще — злосчастный кивер непомерной высоты. Особенно досаждал он тем, у кого водились деньги. Он служил им кладовой. Его весь сверху донизу набивали апельсинами, пирожками, булками, сыром, леденцами и несли эту снедь на голове, рискуя повредить себе шею.

Кивер Федора был пустой, но недавно купленный к майскому параду — новенький. Купил на последние деньги. Объяснил отцу этот расход так: «Решительно все мои новые товарищи запаслись собствен-

ными киверами; а мой казенный мог бы броситься в глаза царю. Я вынужден был купить новый, а он стоил 25 рублей». Вряд ли царь среди многотысячного войска разглядел бы старый кивер Федора Достоевского. Дело было не в царе, а в товарищах. Самолюбивый юноша боялся косых взглядов, насмешек. Боялся выказать свою бедность, хотел быть как все. Потому и купил этот кивер и теперь с независимым видом, ничем не выделяясь среди остальных, шагал в лагеря.

Шли мимо бедных деревушек, которые невольно напоминали Федору их маленькое Даровое, поездки туда и восхитительное чувство свободы и радости, возникавшие всякий раз среди деревенского приволья. Их убогое именьице, изрезанные оврагами скудные поля, липовая роща казались ему райским уголком. Папенька уезжал в Москву, и они, предоставленные сами себе, под снисходительным надзором маменьки, резвились напропалую. Самой любимой была игра «в диких», которую он, Федор, выдумал, начитавшись про индейцев. Брат Миша, по степенности своего характера, обычно в игре не участвовал, а служил им «костюмером». Они же с братом Андрюшей раздевались догола и с помощью Миши превращались в индейцев: раскрашивали лицо и тело, устраивали из листьев и гусиных перьев головные уборы и набедренные повязки, вооружались самодельными луками.

Игры происходили в липовой роще. В укромном местечке, скрытом от глаз, строили из веток шалаш с незаметным входом. В нем пребывали «дикие племена». Отсюда совершали они набеги на соседний лесок Брыково, где забирали «пленников» — деревенских ребятишек, которые заранее их там поджидали. «Пленников» уводили в шалаш, держали там некоторое время, а потом выпускали за «приличный выкуп». Предводителем «диких племен» был, конечно, он, Федор...

— Рота, — подтянись! — слышался окрик офицера. Ранец оттягивал плечи, кирка и лопата колотили по ногам.

Федору казалось, что то, в Даровом, было в какой-то другой жизни.

## В лагере под Петергофом

День выдался дождливый, пасмурный. Несмотря на дурную погоду, император Николай Павлович, встав рано поутру, вышел из дворца, поднялся на одну из высоких башен нижнего петергофского парка и оттуда в зрительную трубу принялся наблюдать за ученьем, происходившим на широком плацу лагеря военно-учебных заведений. Плац отлично просматривался с этой высокой точки.

Сначала лицо царя выражало удовлетворение. Стройный развернутый фронт, четкие повороты... Но внезапно царь нахмурился. Он сунул трубу адъютанту, быстро сбежал по крутой башенной лестнице, вскочил на оседланного коня, поджидавшего его, и через четверть часа был уже в лагере. С суровым видом разнес он вытянувшегося перед ним генерала и сам принял командование.

Недовольство царя было вызвано тем, что, следя за учением, он заметил, как первый батальон, состоящий из воспитанников Школы гвардейских подпрапорщиков, Пажеского корпуса и Инженерного училища, боясь замарать белые панталоны своих парадных мундиров, раздвигает фронт и обходит большие лужи.

Царь выехал на середину плаца и в весьма энергичных выражениях отчитал батальон. Затем построил его сомкнутой колонной и погнал по лужам к глубокому рву, наполненному грязной водой. Момент — и все по команде попрыгали в ров, очутились по пояс в воде, выбрались, помогая друг другу, на противоположный берег, с необыкновенной быстротой снова построились и, следуя команде царя, продолжали путь вперед.

Лагеря военно-учебных заведений, где с начала июня до начала августа пребывал Федор Достоевский, расположены были под Петергофом. Этот пригород Петербурга с великолепными дворцами и парками, знаменитыми фонтанами служил летней резиденцией царского семейства, и царь, обожавший фрунт, нередко вмешивался в повседневные лагерные дела, приготовления к маневрам и линейным учениям, которыми сам он командовал. Это доставляло ему живейшее удовольствие.

Федору лагерная жизнь приносила немало неприятностей. Занятия науками прекращались, царил один фрунт. К тому же в лагерях особенно тяготило безденежье. «Ну, брат! — писал Федор Михаилу,— ты жалуешься на свою бедность. Нечего сказать, и я не богат. Веришь ли, что я во время выступления из лагерей не имел ни копейки денег; заболел дорогою от простуды (дождь лил целый день, а мы были открыты) и от голода, и не имел ни гроша, чтоб смочить горло глотком чаю. Но я выздоровел и в лагере участь моя была самая бедственная до получения папенькиных денег».

Целая неделя шагистики и «эволюций», а в воскресенье возможность гулять по петергофскому парку. Чинно шествовать по дорожкам, боясь ступить на траву, боясь задуматься, чтобы, боже упаси, не пропустить встречного офицера или — еще хуже — самого царя и за шесть положенных шагов не вытянуться в струнку и не отдать чести. Даже по воскресеньям Федор предпочитал оставаться в лагере. Он старался уклониться и от «штурма» Большого каскада, устраиваемого для увеселения царского семейства. Время от времени их ставили по взводам



Переход вброд на маневрах.
*Акварель П. Федотова. 30-е годы XIX в.*

и вели к «Самсону» — огромному фонтану у Большого каскада. Там среди бассейна возвышалась бронзовая фигура Самсона, раздирающего пасть льву. Из отверстой пасти на большую высоту била мощная струя воды. Их останавливали возле одного из бассейнов, куда стекала вода, ниспадающая по мраморным ступеням каскада. Высоко над ними, на площадке перед дворцом, стояла императрица, окруженная придворными. Появлялся царь, выравнивал ряды приведенных, отдавал команду:

— Раз! Два! Три!

После слова «три!» все кидались в бассейн и, цепляясь друг за дружку, сбиваемые водой, старались как можно быстрее взобраться по ступеням каскада туда, где стояла государыня. Первым трем победите-

лям императрица вручала призы: что-нибудь из изделий петергофской гранильной фабрики.

Единственное, что несколько примиряло с лагерной жизнью,— возможность больше читать, чем зимою в училище. «Ну, ты хвалишься, что перечитал много... — писал Федор Михаилу, — но прошу не воображать, что я тебе завидую. — Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. Весь Гофман русский и немецкий (т. е. непереведенный Кот Мур), почти весь Бальзак... Фауст Гете и его мелкие стихотворения. История Полевого [1] Уголино [2], Ундина [3] (об Уголино напишу тебе кой что-нибудь после). Также Виктор Гюго, кроме Кромвеля и Гернани».

## «Еще лишний год дрянной, ничтожной кондукторской службы!»

Самым трудным временем для воспитанников Инженерного училища была пора годичных экзаменов. Множество разнородных предметов, и все надлежало повторить от начала до конца, за два-три дня подготовиться к каждому. Федор и его товарищи забыли про сон, разговоры, развлечения. Сидели не разгибаясь над книгами, сжав голову руками, и учили, учили. Бледный, еще бледнее обычного, с осунувшимся лицом и красными от бессонницы глазами, Федор ни о чем не позволял себе думать, кроме экзамена. Забравшись в свой любимый закуток у окна в спальне своей роты, ночью накинув для теплоты одеяло — из окна сильно дуло — Федор занимался упорно и сосредоточенно. У него не было сомнений в исходе экзамена. И действительно, по всем предметам он получил высший балл. Кроме фортификации и алгебры. По этим предметам получил он балл пониже. На первых порах не подумал худого. И вдруг как снег на голову неожиданное решение конференции училища...

«С.-Петербург, 30 октября 1838 года.

Любезнейший Папенька!

Не сердитесь, ради бога, на мое молчание после получения письма Вашего, Любезнейший Папенька! Много имею я причин молчанья и оправданий. Скажу Вам только то, что Ваше письмо застало меня в начале экзамена. Он теперь кончился. Спешу уведомить Вас обо всем. Прежде нежели кончился наш экзамен, я Вам приготовил письмо...

---

[1] История Полевого — «История русского народа» Н. А. Полевого.
[2] «Уголино» — драма Н. А. Полевого.
[3] «Ундина» — поэма Ламотт-Фуке, переведенная В. А. Жуковским.

Я хотел обрадовать Вас, Любезнейший Папенька, письмом моим, хотел наполнить сердце Ваше радостию, одно слышал и видел и на яву и во сне. Теперь что осталось мне? Чем мне обрадовать Вас, мой нежный, любезнейший родитель? Но буду говорить яснее.

Наш экзамен приближался к концу; я гордился своим экзаменом, я экзаменовался *отлично* и что же? Меня оставили на другой год в классе... О скольких слез мне это стоило. Со мною сделалось дурно, когда я услышал об этом. В 100 раз хуже меня экзаменовавшиеся перешли *(по протекции)*. Что делать, видно сам не прошибешь дороги. Скажу одно: ко мне не благоволили некоторые из преподающих и самые сильные своим голосом на конференцной. С двумя из них я имел личные неприятности. Одно слово их и я был оставлен. (Все это я услышал после)... Еще лишний год дрянной ничтожной кондукторской службы!»

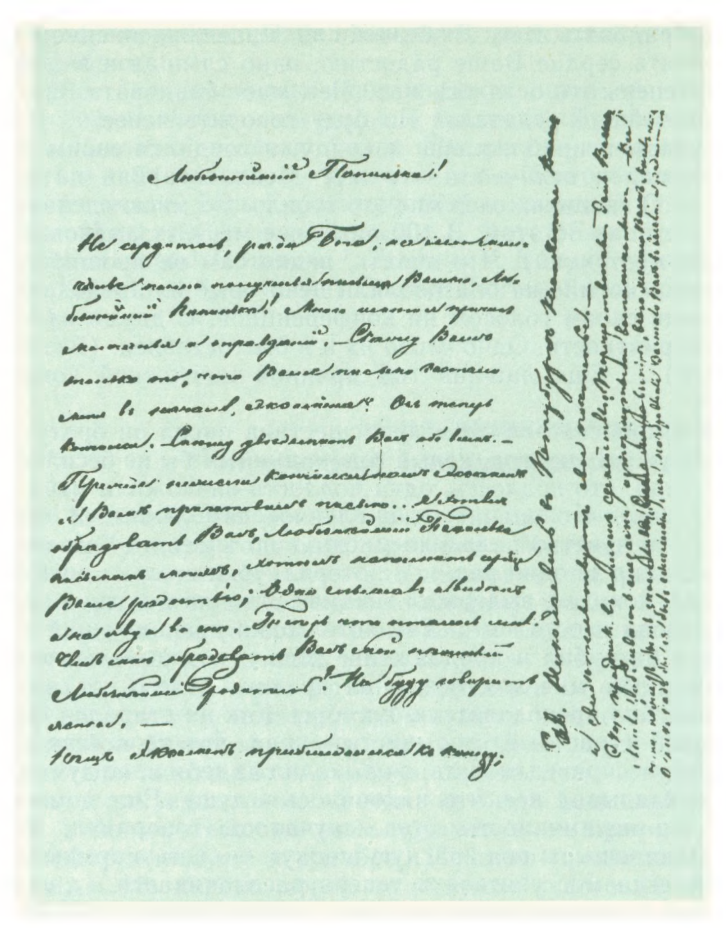
Более откровенно об этом происшествии писал он брату: «Я не переведен! О ужас! еще год, целый год лишний! Я бы не бесился так, ежели бы не знал, что подлость, одна подлость низложила меня... До сих пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие. Я бы краснел, ежели бы это чувство овладело мною... но знаешь? Хотелось бы раздавить весь мир за один раз... Я потерял, убил столько дней до экзамена, заболел, похудел, выдержал экзамен отлично в полной силе и объеме этого слова и остался... Так хотел один преподающий (алгебры), которому я нагрубил в продолженье года и который нынче имел подлость напомнить мне это, объясняя причину отчего остался я...»

Он нагрубил преподавателю алгебры. Как ни старался Федор сдерживать свой страстный, порывистый нрав, это не всегда удавалось. Видя явную несправедливость, он выходил из себя и, не думая о последствиях, выкладывал все, что накопилось в душе. Еще дома в Москве, замечая его неуимчивость, отец, случалось, говаривал: «Ой, Федя, уймись. Попадешь ты под красную шапку» (то есть в армию солдатом). А он не всегда мог уняться и теперь расплачивался.

Еще год в том же классе...

Зима не сулила ничего отрадного, если бы не дружба с Иваном Николаевичем Шидловским. Этой зимой они виделись особенно часто. Как только наступал субботний вечер, Федор, испросив разрешение у ротного командира, спеша пробирался по тускло освещенным петербургским улицам в бедную квартирку Ивана Николаевича. Этот молодой человек бросил службу, хоть средства имел весьма скудные, и один в своем убогом жилище предавался мечтам и горестям.

Федор и раньше ценил Шидловского, его доброту, внимание к нему и Михаилу. Еще от Костомарова он с братом писали отцу об Иване Николаевиче: «Ах, папенька, ежели бы вы знали, какой это достойный молодой человек. Мы не знаем, как благодарить его. Он так любит нас,



Письмо Ф. М. Достоевского к отцу. 30 октября 1838 г.
*Автограф, страница первая.*

как будто родной. Всякое воскресенье навещает он нас и мы, ежели бывает хорошая погода, идем с ним в церковь, а там заходим к нему, и к обеду возвращаемся домой».

Теперь, при ближайшем знакомстве, Шидловский предстал перед Федором в новом свете. Он жил странной, не похожей на других жизнью, внешне будто бы бездеятельно, но внутренне до крайности напряженной. Его окружала атмосфера необычности, и это пленяло и

Письмо Ф. М. Достоевского к отцу. 30 октября 1838 г.
*Автограф, страница вторая.*

волновало Федора. Он с бьющимся сердцем переступал порог бедной маленькой квартирки, которая тотчас же утрачивала свой будничный вид при звуках голоса Ивана Николаевича.

Коренастый, веснушчатый, в мешковатом мундире, Федор с восхищением смотрел на высокого, красивого Шидловского, с восхищением слушал его речи. Ему нравилось в Шидловском все — внешность, облагороженная печатью страдания, глубокий ум, образованность,



Публичные испытания воспитанников Военно-учебных заведений.
*Литография В. Тимма. Середина XIX в.*

увлекательное красноречие, романтически-бурные стихи. «Сколько поэзии! Сколько гениальных идей!» — восторгался Федор.

У себя на родине, на Украине, Шидловский был влюблен в девушку. Девушка вышла за другого, и это заставило молодого человека бежать в Петербург и искать здесь забвенья. Но ни время, ни перемена места не охладили его страсти. «Взглянуть на него: это мученик! Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. — Он страдал! тяжко страдал! Боже мой, как любит он какую-то девушку (Marі, кажется)... Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии...» — делился Федор с Михаилом.

Федору казалось, что перед ним оживший герой Шекспира или Шиллера — благородный и пламенный. «Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем! О, какая откровенная чистая душа!»

Чтение стихов и беседы, красноречивые излияния Ивана Николаевича, который поверял юноше свои сомнения и раздумья, свое стремление к высокому, облагораживающему душу. Федор ловил каждое слово. Он упорно искал свою дорогу в жизни, много думал о будущем,

отнюдь не считая карьеру военного инженера пределом желаний. Речи Ивана Николаевича волновали, будоражили, рождали гордые мысли...

«Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии. Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни...» Они расстались осенью. Федор вернулся из лагерей. «В последнее свидание мы гуляли в Екатерингофе. О, как провели мы этот вечер! вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили, столько читали. Мы говорили с ним о нас самих, о прошлой жизни, о будущем... Эта дружба там много принесла мне и горя и наслажденья!»

Шидловский вскоре уехал, скрылся из Петербурга, но знакомство с ним оставило в душе Федора неизгладимый след. Пройдут годы и знаменитый писатель Федор Достоевский попросит своего биографа: «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает, и что он не оставил после себя литературного имени, ради бога, голубчик, упомяните, это был большой для меня человек, и стоит он того, чтобы имя его не пропало».

## Смерть отца

Второй переходный экзамен сдавали в мае 1839 года. На этот раз все сошло благополучно, и Федор переведен был в следующий класс. Его усердие оценили. «Теперь многие из тех преподающих, которые не благоволили ко мне прошлого года, расположены ко мне как не надо лучше. Да и вообще я не могу жаловаться на начальство. Я помню свои обязанности, а оно ко мне довольно справедливо. Но когда-то я развяжусь со всем этим».

После экзамена и майского парада предстояло выступить в лагеря и приходилось обращаться к отцу за помощью. «Милый, добрый Родитель мой! Неужели Вы можете думать, что сын Ваш, прося от Вас денежной помощи, просит у Вас лишнего... Любезный папенька, вспомните, что я *служу* в полном смысле слова. Волей или неволей, а я должен сообразоваться вполне с уставами моего теперешнего общества. К чему же делать исключение собою? Подобные исключения подвергают иногда ужасным неприятностям».

Чем старше становился Федор, тем сильнее чувствовал уколы самолюбия от своего неравенства с богатыми товарищами. Они бросали в лагерях сотни, а он не мог иметь даже собственного чаю, доволь-

ствуясь казенным два раза в день. Ему хотелось приобрести лишнюю пару сапог, сундук для книг, а это требовало денег.

У других есть, а у него нету. Мучительное унижение. Это навсегда запомнилось. Недаром через несколько лет в своем первом романе «Бедные люди» молодой писатель Достоевский скажет устами Макара Девушкина: «Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь все народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь. . . для вида, для тона».

Нелегко было Федору просить денег у отца. Тот давал неохотно. Да и не с чего было. Сам не знал, как вывернуться. Писал сыну: «Любезный друг Феденька! Два письма в одном конверте я получил от тебя в прошедшую почту; а теперь, не теряя времени, спешу тебе отвечать. Пишешь ты, что терпишь и в лагерях будешь терпеть нужду в самых необходимейших вещах, как-то: в чае, сапогах и т. п., и даже изъявляешь на ближних твоих неудовольствие, в коем разряде без сомнения и я состою, в том, что они тебя забывают. Как ты несправедлив ко мне в сем отношении! . . Вспомни, что я писал третьего года к вам обоим, что урожай хлеба дурной, прошлого года писал тоже, что озимого хлеба совсем ничего не уродилось. Теперь пишу тебе, что за нынешним летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния. Представь себе зиму, продолжавшуюся почти 8 месяцев, представь, что по дурным нашим полям мы и в хорошие годы всегда покупали не только сено, но и солому, то кольми паче теперь для спасения скота я должен был на сено и солому употребить от 500 до 600 руб. Снег лежал до мая месяца, следовательно, кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. Но это ничто в сравнении с настоящим бедствием. С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы. Жара, ветры ужасные все погубили. Озимые поля черны, как будто и не были сеяны; много нив перепахано и засеяно овсом, но это по-видимому не поможет, ибо от сильной засухи, хотя уже конец мая, но всходов еще не видно. Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом!»

Склонный к преувеличениям, обычно видевший все в черном свете, Михаил Андреевич на этот раз ничего не преувеличивал и не усугублял. Положение в его маленьком именьице было критическое. Даже у опытного хозяина опустились бы руки, а он, человек городской, непривычный, мало сведущий в сельском хозяйстве, не знал, с чего начать, как избыть беду.

Выйдя в отставку, недавний штаб-лекарь забрал двух младших детей и поселился в деревне. Деревня встретила его неприветливо. Одно дело было наезжать сюда ненадолго в отпуск, когда здесь хозяйничала покойная жена, поесть клубники, побродить по полям, пройти по деревне, важно кивая на поклоны мужиков, и уехать в Москву. И сов-



Вид на Марсово поле.
*Литография П. Иванова по рисунку В. Садовникова. 30-е годы XIX в.*

сем другое — засесть здесь безвыездно, и в унылые октябрьские дожди, и в декабрьские морозы, и в весеннюю распутицу, совершенно одному, оторванному от привычных занятий, помышляя лишь о нищих мужиках, недружелюбных соседях, неурожайных полях, неустроенном, требующем постоянной заботы хозяйстве.

При жизни жены Даровое и Чермошня — вторая их деревенька — представлялись Михаилу Андреевичу совсем в ином свете. Жена, с ее легким характером, умела все как-то сглаживать. Она никогда не унывала. Мужикам весною нечем было сеять — делилась с ними. «Чермошенским беднягам я поделила овса, остального после посева в Чермошне». Крестьяне ее любили: «Меня приняли дворовые и крестьяне радушно и ласково». А его... Не умеет он с ними. Своих забот через край, да и характер не тот, не любитель он нежностей.

Чужой и враждебной обернулась ему деревня. И тоскливой до жути — хоть волком вой. В отличие от Москвы, где каждый день был заполнен, здесь появилось много пустого времени для бесплодных

размышлений, невеселых горьких мыслей. Жизнь не удалась, обманула его, объехала на кривой. Карьера не удалась, семейная жизнь рухнула— в тридцать семь лет унесла Машеньку злая чахотка. И с имением он просчитался. Хотел выйти в помещики, обеспечить семью, иметь на старости лет свой спокойный угол. Все малые свои сбережения, да еще занятые деньги вложил в эти деревушки. И вот... От тоски и заброшенности, от страха перед будущим пристрастился Михаил Андреевич к вину и стал употреблять его в неумеренном количестве.

В начале июня 1839 года случилось непоправимое. Будучи в поле и наблюдая за тем, как крестьяне возят навоз, Михаил Андреевич внезапно упал и больше не поднимался. Вызванный из ближайшего уездного городка Зарайска медико-хирург Шенрок определил — скоропостижная смерть от апоплексического удара. Из Каширинского уезда, к которому было приписано имение, приехало «временное отделение» земского суда, и уездный лекарь подтвердил заключение, данное Шенроком: апоплексический удар.

Михаил Андреевич давно уже болел. Еще в 1835 году он писал жене: «Голова моя довольно пострадала, как обыкновенно бывало при перемене погоды». Девятнадцатого ноября 1838 года так описывал старшей дочери Варе свое состояние: «Я уведомлял тебя о моем нездоровье, которое со дня на день делалось худшим, и наконец совершенно положило меня в постель. Тебе известно, что я по летам моим, а более по неприятностям жизни привык отворять кровь, но как в Зарайске нет хорошего фельдшера, то из опасения, чтоб он мне не испортил руки, я сделал большую просрочку, болезнь со дня на день делалась худшею; к несчастью в это самое время я получил от брата твоего Феденьки письмо, для нас всех неприятное; он уведомляет, что на экзамене поспорил с двумя учителями, это сочли за грубость, и — оставили его до мая будущего года в том же классе; это меня, при болезненном состоянии, до того огорчило, что привело в совершенное изнеможение, левая сторона тела начала неметь, голова начала кружиться; тут я призвал бога на помощь, послал за фельдшером, который измучил меня четырьмя разрезами до того, что я претерпел 4 обморока... Помню только, как во сне, Сашенькин плач, что папенька умер». Теперь же от непрерывных огорчений и злоупотреблений вином здоровье Михаила Андреевича пришло в совершенное расстройство. И вот печальный финал...

Дали знать в Москву родным. За Сашенькой и Колей приехала мачеха Марии Федоровны, вторая жена ее отца — Ольга Яковлевна.

И тут началось нечто странное. Соседи Достоевских, помещики Хотяинцевы, уверили тещу, что зять ее не умер естественной смертью, а был убит своими крепостными. А «временное отделение» суда мужики, мол, подкупили, чтобы те замяли дело. Это нищие-то крестьяне, без гроша за душой...

№ 13

Любезный другъ Фединька!

Два письма въ одномъ конвертѣ, я получилъ отъ тебя въ прошедшую почту; а теперь не теряя времени, спешу тебѣ отвѣчать. [illegible]

Письмо М. А. Достоевского сыну. 27 мая 1839 г.

*Автограф первой страницы.*

С тем и вернулась Ольга Яковлевна в Москву, об этом и рассказала. Так и пошло: жестокий помещик, убит крепостными.

Какая же корысть была Хотяинцевым распускать такие слухи о смерти Михаила Андреевича? Зачем подучили они одного из окрестных помещиков донести на мужиков Достоевского в Каширинский уездный суд? Дело в том, что уже несколько лет длилась тяжба между соседями: земли Хотяинцева — владельца двух поместий и пятисот душ — вклинивались в разных местах в деревушку Достоевских, те просили о размежевании, а Хотяинцев не желал. Привыкшего к подобострастию спесивого барина бесило независимое поведение какого-то отставного лекаришки. И вот теперь, воспользовавшись случаем, Хотяинцев, должно быть, задумал чуть не всех взрослых мужиков из соседского именьица упечь в Сибирь, разоренные вконец деревушки за бесценок прибрать к рукам, а покойного владельца ославить извергом.

Следствие тянулось больше года. Но никаких улик отыскать не удалось. И наконец вышло решение: «Случай смерти... предать суду воли Божьей, так как в оной виноватых никого нет».

А в семье считалось — убит крепостными.

Когда Федору сообщили о смерти отца — и какой смерти! — с ним, по семейным преданиям, впервые сделался нервный припадок.

## «Одна моя цель — быть на свободе»

Федор раньше Михаила узнал о смерти отца и написал брату о случившемся. Хотя оба они, по их понятиям, были уже «в летах» — Михаилу девятнадцать, Федору — восемнадцать, но по закону, как несовершеннолетние, до двадцати одного года нуждались в опеке. Не говоря уже о прочих пятерых. Судьба младших особенно заботила Михаила и Федора: круглые сироты, без отца и матери.

Михаил написал Куманиным, прося дяденьку Александра Алексеевича принять на себя обязанности опекуна. «Из деревни я не получал еще никакого известия, а брат пишет очень неясно о всем происшедшем; потому я почти ничего не знаю подробно. Слышал только, что Вы взяли детей к себе, и пролил слезы благодарности! Бог наградит Вас за Ваше доброе сердце! Дяденька! Тетенька! Замените им родителей; не дайте почувствовать им ужасный гнет сиротства... бедный Коля, бедная Сашенька! Не знаю, кто будет опекуном? Если б я не сознавал вполне всех Ваших благодеяний, всего того, что Вы для нас



Вид на Большую Морскую улицу от Невского проспекта.
*Фрагмент Панорамы Невского проспекта. Литография И. Иванова с акварели В. Садовникова. 30-е годы XIX в.*

сделали, я не стал бы просить Вас — увеличить их еще новым добрым делом, приняв это почтенное звание на себя».

Куманин отказался. И Михаил написал Федору, что задумал, получив офицерский чин, выйти в отставку, уехать в деревню и заняться воспитанием младшего брата и сестры.

Федора восхитил благородный порыв брата. «Меня убивает мысль, что они на чужих руках будут воспитаны. А потому мысль твоя, получивши офицерский чин, ехать жить в деревню, по-моему, превосходна. Там бы ты занялся их образованием, милый брат, и это воспитание было бы счастьем для них».

Но пока что опекуном назначили каширского исправника Елагина, человека недобросовестного, который, пользуясь безнаказанностью, и здесь погрел руки, присваивая то немногое, что давало именье.



А. А. Куманин.
*Рисунок Воронова. 1842 г.*

Правда, опекунство его длилось недолго. Вскоре Куманины выдали замуж семнадцатилетнюю миловидную Вареньку за сорокачетырехлетнего вдовца Петра Андреевича Карепина, весьма наторелого в денежных делах. Он и стал опекуном детей Достоевских, совмещая это с другими занятиями, как-то: службой в качестве правителя канцелярии московского генерал-губернатора князя Голицына, управлением имениями князя и еще многими должностями. Он даже состоял секретарем благотворительного дамского комитета, пленив дам и расторопностью, и видной наружностью, и французским выговором.

Итак, Вареньку выдали замуж. Андрюша и Верочка учились в пансионах. Двух младших воспитывали Куманины. Михаил служил в Ревеле юнкером при тамошней инженерной команде. А Федор продолжал свои занятия в училище.

Шел третий год его ученья. Он давно уже не был «рябцом», пользовался уважением товарищей, с его мнением считались, хотя он попрежнему держался в стороне, всегда погруженный в свои мысли или занятый чтением. Учился он хорошо. Со всеми бывал ровен, «рябцов» никогда не обижал, заступался за солдат-служителей, которыми не прочь были помыкать воспитанники. А мечтал об одном: «Одна моя цель — быть на свободе».

Кружок их распался. Бережецкий, получив офицерский чин, больше не жил в училище. Не докончив ученья, ушел Григорович. Он давно тяготился инженерными науками, а тут помог ему случай.

В Петербург навестить сына приехала мать Григоровича. Как-то в субботу вечером он спешил к ней на квартиру. Вечер был осенний, пасмурный, шел мелкий дождь. Свернув с Невского на Большую Морскую, подходя к Кирпичному переулку, молодой человек задумался. Вдруг возле двухэтажного деревянного дома, в нижнем этаже которого помещался магазин картин и древностей, как из-под земли

вырос перед ним офицер и скороговоркой сказал:

— Вы пропустили великого князя.

Ничего не понимая, Григорович огляделся. В нескольких шагах от себя он увидел коляску, из которой высунулась треугольная шляпа и знакомый голос Михаила Павловича выкрикнул:

— Поди сюда! Поди сюда!

Григорович похолодел. Плохо соображая, что делает, он кинулся в дверь магазина. Там никого не было. Он помчался дальше, пулей вылетел во двор и, сам не зная как, очутился в мебельном магазине, выходившем на Мойку. Хозяин магазина, сочувственно выслушав юношу, провел его к себе на квартиру, где Григорович и скрывался до темноты. Когда же стемнело, он побежал к матери.



А. Ф. Куманина.
*Рисунок Воронова. 1842 г.*

Мало-помалу он успокоился, надеясь, что в полумраке великий князь не разглядел его мундира и дело обошлось. Но не тут-то было. Ночью в квартире раздался звонок. Из училища явился сторож с приказом тотчас же идти в Инженерный замок — всех, мол, собирают.

Пришедшие в замок воспитанники были в полном недоумении. Затем кто-то сказал, что один из кондукторов пропустил великого князя, не сделав ему фронта, и скрылся. К десяти часам утра князь приказал собрать всю роту, пообещав сам явиться. А ежели преступник сознается — вести его в Михайловский дворец.

Григорович счел за благо не подводить товарищей и повиниться, чем весьма обрадовал ротного командира.

Утром Григоровича повели к Михаилу Павловичу.

— Этот шалопай вчера был пьян! — объявил великий князь, указывая на приведенного.

Тут уж ротный командир осмелился вступиться:

— Ваше высочество, этот кондуктор отличается у нас хорошим поведением. Он никогда ни в чем худом не был замечен.

Или слова ротного командира смягчили Михаила Павловича, или великий князь был в духе, но он заговорил уже более снисходительно:

— Представьте, вчера этот шалопай не сделал мне фронта. Я подозвал его. Что же вы думаете? Он бросился от меня в магазин и удрал. Я послал за ним тотчас же Ростовцева, который ехал со мною, но нигде не могли его отыскать. Он точно... испарился!

Последнее слово так понравилось Михаилу Павловичу, что он повторял его без конца и, радуясь собственному остроумию, совсем развеселился. Это облегчило участь виновного. Приказано было посадить его под арест и держать до распоряжения.

Из-под ареста Григорович попал в лазарет — у него заболело горло. Навестившую его мать он просил взять его из училища, уверяя, что здесь его вгонят в чахотку. Любящая мать согласилась.

Федор мог только завидовать товарищу. Сам он должен был продолжать учение. У него не было изрядного состояния и снисходительной, любящей матери. Ему предстояло самому зарабатывать на кусок хлеба.

## «Человек есть тайна»

После смерти отца Федор все чаще и чаще начал задумываться о своей дальнейшей жизни. Теперь, будучи в полной мере предоставлен самому себе, он мог решать те вопросы, которые до сих пор решал за него папенька. А он — покорный сын, приученный к повиновению, послушно следовал направлявшей его воле, не желая огорчать заботливого отца.

Уехав из Москвы и пожив в Петербурге, хотя и в закрытом учебном заведении, Федор уже на многое смотрел иными глазами, приобретая о жизни собственные понятия. Он жалел отца, сочувствовал ему, но отнюдь не разделял его взглядов и суждений. Едва проучившись в училище год, он уже писал Михаилу: «Мне жаль бедного отца! Странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить». И прибавлял: «А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нем 50 лет и остался при своем мнении о людях, какое он имел 30 лет назад. Счастливое неведение. Но он очень разочарован в нем. Это кажется общий удел наш».

Федор также не был очарован светом. Но считал, что, несмотря на свои юные годы, знает о жизни и людях нечто такое, чего не дано было узнать Михаилу Андреевичу.

Больше всего Федора занимали люди. И ныне живущие, и из прошедших веков. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной...» Так он писал Михаилу в августе 1839 года.



В. Гюго.
*Гравюра.*

Как же он разгадывал эту тайну? Зорко присматривался к жизни, к окружавшим его людям. И читал. Читал писателей древних и новейших. Читал много, с жадностью ища в книгах разгадку тайны человеческой души и смысла бытия. «... Учиться, «что значит человек и жизнь» в этом довольно успеваю я; учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно». В книгах искал он ответы на вопросы, волновавшие и его, и всю думающую молодежь. «Надо заметить, — писал он много позже, — что тогда только это и было позволено, — т. е. романы, остальное все, чуть не всякая мысль, особенно из Франции, было строжайше запрещено».

Из Франции шла революционная «зараза». Ее видели повсюду. И даже французские романы не всегда «проскакивали». Так, министр просвещения Уваров запретил переводить на русский язык роман Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери», считая, что русской публике «рано» читать подобные книги.

А юный кондуктор эти книги читал. Он писал отцу: «Перейдя в высший класс, я нахожу совершенно необходимым абонироваться здесь на французскую библиотеку для чтения. Сколько есть великих произведений гениев -- математики и военных гениев на французском языке. Вижу необходимость читать это...»

Всегда правдивый, в данном случае он был не совсем точен. Во французской библиотеке брал он не столько ученые сочинения, сколько не переведенные на русский язык романы Жорж Санд, Бальзака, Гюго...

Жорж Санд имела тогда в России необыкновенный успех. Достоевского покорили ее романы. Простые люди, безыскусные характеры, скромные женщины, готовые на подвиг, высокая нравственная



Ж. Санд.
*Гравюра.*



Ф. Шиллер.
*Гравюра.*

чистота, милосердие, справедливость, вера в человека, в счастливое будущее человечества... «Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочел в первый раз ее повесть *«Ускок»*, одно из прелестнейших первоначальных ее произведений. Я помню, я был потом в лихорадке всю ночь». С тех пор он не пропускал ни одного нового творения Жорж Санд.

Он упивался также Шиллером, благородным, возвышенным, обличающим Шиллером, страстным борцом за справедливость. «Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. — Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни».

Он читал Шиллера вместе с Шидловским, проверяя «над ним» Дона Карлоса, маркиза Позу, Мортимера.

Да, характеры — самую суть человеческой природы — узнавал он пока, главным образом, из книг и, пылкий мечтатель, сам воображал себя то героем Древней Греции — Периклом, то римским полководцем Марием, то одним из первых мучеников-христиан времен Нерона, то рыцарем из романов Вальтера Скотта... «И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душой моей в золотых и воспаленных грезах точно от опиума!»

Он не только мечтал — он поверял свои мечты бумаге, сочинял, писал много и упоенно. Ночью, в спальне своей роты, в своем любимом

закутке, прикрывшись одеялом, при свете одинокой свечи не только упорно постигал инженерные науки, но и писал. И неизвестно, на что он тратил больше времени.

## «Приезжай, друг мой»

В конце 1840 года Федор был в приподнятом радостном настроении — он ждал в Петербург Михаила.

Михаил, служа и учась в Ревеле, задумал было поступать в военную академию, но потом влюбился в молоденькую ревельскую немку Эмилию Дитмар, решил жениться и после окончания Кондукторской школы удовольствоваться скромным положением местного военного инженера. Федор воспротивился. «...В прошлом письме моем я писал тебе о моем намерении выйти в местные инженеры. Этому видно не быть, — рассказывал Михаил в письме к сестре Вареньке. — Порядочный нагоняй от брата выгнал эту блажь из головы моей, и я опять завален книгами, занимаюсь и днем и ночью. Что-то будет, но в августе я еду в Петербург и надеюсь выдержать этот страшный, огромный экзамен».

Федор настоял, чтобы Михаил подготовился и приехал в столицу сдавать экзамен на чин прапорщика полевых инженеров. Это было все-таки движением вперед, и в смысле знаний, и в смысле положения. И вот теперь он ждал Михаила. Почти три года они не виделись. Каждое письмо брата было для Федора событием. «Ах, милый брат! пиши мне ради бога хоть что-нибудь». Михаил был ему ближе всех на свете. «Ты не поверишь, как сладостный трепет сердца ощущаю я, когда приносят мне письмо от тебя; я изобрел для себя нового рода наслаждение — престранное — томить себя. Возьму твое письмо, перевертываю несколько минут в руках, щупаю его полновесно ли оно, и насмотревшись, налюбовавшись на запечатанный конверт, кладу его в карман... И таким образом жду иногда с 1/4 часа; наконец с жадностию нападаю на пакет, рву печать и пожираю твои строки, твои милые строки. О, чего не перечувствует сердце читая их!»

В письмах они рассказывали друг другу о себе, делились горестями и радостями, спорили о прочитанном, забрасывали друг друга вопросами, на которые не всегда успевали отвечать. «Сердишься, зачем не отвечаю на все вопросы. Рад бы, да нельзя! — оправдывался Федор. — Ни бумаги, ни времени нет. Впрочем, ежели на все отвечать, например, и на такие вопросы: «Есть ли у тебя усы?», то ведь никогда не найдешь места написать что-нибудь лучшего».

Михаил посылал Федору свои стихи. Федор считал его поэтом, находил у него дарование и всячески побуждал и здесь двигаться вперед, не зарывать в землю таланта, чтобы потом, оглянувшись на прошлое, не скорбеть о бесцельно прожитой жизни. «В самом деле, как грустна бывает жизнь твоя и как тягостны остальные ее мгновенья, когда человек, чувствуя свои заблуждения, сознавая в себе силы необъятные, видит, что они истрачены в деятельности ложной, в неестественности, в деятельности недостойной для природы твоей; когда чувствуешь, что пламень душевный задавлен, потушен бог знает чем».

Всеми силами раздувал он в душе Михаила творческий пламень, боясь, чтобы брат не погряз в повседневности. Они беседовали в письмах. Письма... Но что значили эти клочки бумаги по сравнению со встречей, с теми мгновениями, когда можно, глядя друг другу в глаза, понимать все с полуслова, когда душа читается на лице, когда одна фраза, сказанная убежденно и искренне, значит больше, чем десятки исписанных листов.

Он ждал Михаила... Они расстались подростками, теперь они юноши. «Сколько перемен в нашем возрасте, мечтах, надеждах, думах ускользнуло друг от друга меж нами незамеченными, и которые мы сохранили у себя на сердце. О! когда я увижу тебя, чувствую, что мое существование обновится... Приезжай ради бога, приезжай, друг мой, милый брат мой».

И вот, наконец, Михаил приехал. Он снял квартиру на Васильевском острове, обложился книгами в ожидании экзамена.

Экзамен сдал, и в январе следующего 1841 года получил офицерский чин.

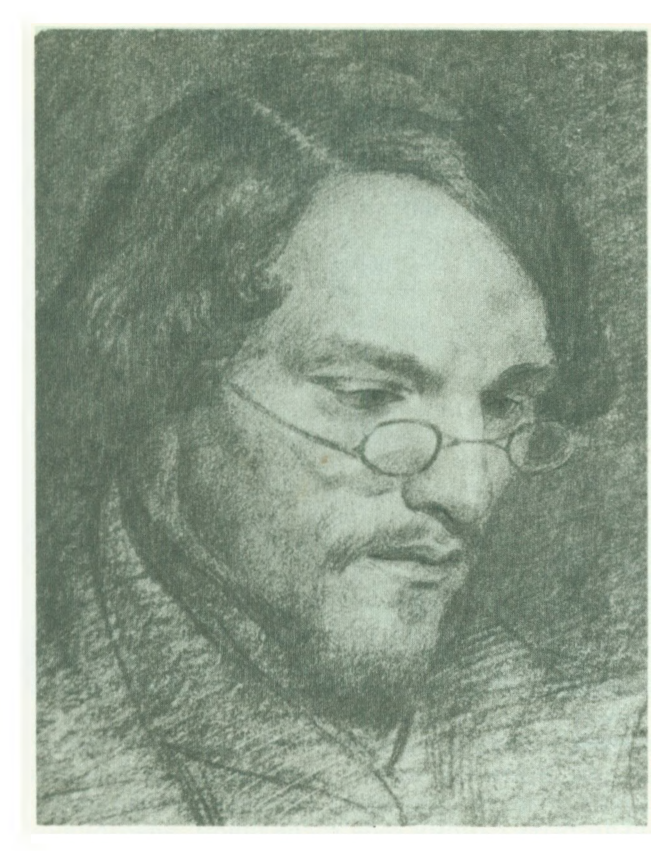
Теперь Федор с понедельника ждал конца недели, чтобы в субботу, освободившись из училища, мчаться к Михаилу. Они проводили вместе субботний вечер и все воскресенье.

С детства привыкшие не выказывать явно свои чувства, они разговаривали негромко, вполголоса, но в блеске глаз, в интонациях, жестах прорывалась та радость, которая переполняла обоих.

Михаил читал Федору свои новые стихи, свои переводы. Из Шиллера. Из Гете. Рассказывал о Ревеле, о своей невесте. Правда, порою он грустнел, признаваясь со вздохом, что не уверен в правильности своего решения.

— Может быть, я делаю глупость, что женюсь. Но если бы ты видел мою Эмилию — этого ангела. Она так радуется, так верит. Я не могу обмануть ее. Трудно мне будет, особенно первый год, пока не прибавят жалования. Но отступать уже поздно — я дал слово, мы помолвлены.

Федор сочувственно выслушивал брата, хоть не совсем понимал его. Жениться в двадцать лет, связывать себя по рукам и ногам, когда



М. М. Достоевский, брат писателя.
*Рисунок К. Трутовского. 1847 г.*

ничего еще не сделано... Сам он жаждал свободы, полной свободы и говорил о себе Михаилу туманно и многозначительно:

— Часто, часто думаю я: что доставит мне свобода? Что буду я один в толпе незнакомой? Надо иметь сильную веру в будущее, крепкое сознание в себе, чтобы жить моими настоящими надеждами. Но все равно — сбудутся они или не сбудутся, я свое сделаю.

Перед отъездом из Петербурга Михаил собрал у себя немногочисленных друзей и знакомых. На этом вечере Федор впервые читал собравшимся отрывки из двух им написанных драм — «Борис Годунов» и «Мария Стюарт».

## На частной квартире

Годичные экзамены в верхних кондукторских классах заставили Федора надолго уткнуться в учебники и конспекты. Ему нравилось хорошо учиться. Чем ненавистнее были ему математика, баллистика и фортификация, тем азартнее подхлестывало его самолюбие пересилить отвращение и, как говорили в училище, не потерять репутации, выучить назубок и ответить без запинки все формулы и правила. «Такое зубрение, что и боже упаси, никогда такого не было. Из нас жилы тянут, милый мой. Сижу и по праздникам, а вот уж наступает март месяц — весна, тает, солнце теплее, светлее, веет югом — наслажденье да и только. Что делать! Но зубрить осталось немного! Вероятно, ты догадаешься отчего это письмо на 1/4 листа. Пишу ночью, урвав время... Голова болит смертельно. Передо мной система Марино и Жилломе и приглашают мое внимание. Мочи нет, мой милый... О брат! милый брат! Скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призвание — дело великое. Мне снится и грезится оно...»

И вот, наконец, свершилось. Пятого августа 1841 года портупей-юнкер Федор Достоевский был по высочайшему приказу произведен в полевые инженер-прапорщики с оставлением в Инженерном училище для продолжения полного курса наук в нижнем офицерском классе. Долгожданный день! Федор ликовал. Нет, не офицерский чин, не эполеты, не новый мундир радовали его. Свежий воздух свободы веял в окно его кондукторской камеры: ведь он получал теперь право поселиться вне стен училища, на частной квартире, а в училище являться только на лекции. Жить где хочешь, избавиться от стеснительного надзора начальства и часто докучного общества товарищей, по вечерам, по воскресеньям быть самому себе господином, невозбранно затворяться в своей комнате и читать, писать... Это ли не свобода? Это ли не счастье — вольно отдаваться своему призванию? Конечно, занятия в училище отнимут еще немало времени. И все же...

Квартирка, где поселился Достоевский вдвоем с товарищем-однокашником Альфредом Тотлебеном, была из двух комнат, тесной и темной, но зато в двух шагах от их офицерских классов — в Караванной улице.

Не успел, однако, Федор вполне насладиться своей новой вольной жизнью, как на него свалилась нежданная забота. Московские родственники прислали в Петербург шестнадцатилетнего Андрея. Его решили определить в Училище гражданских инженеров, выучить на архитектора. На несколько месяцев — пока Андрей готовился к экзамену — Федору пришлось приютить брата у себя. «Его приготовление и его житье у меня вольного, одинокого, независимого, это для меня



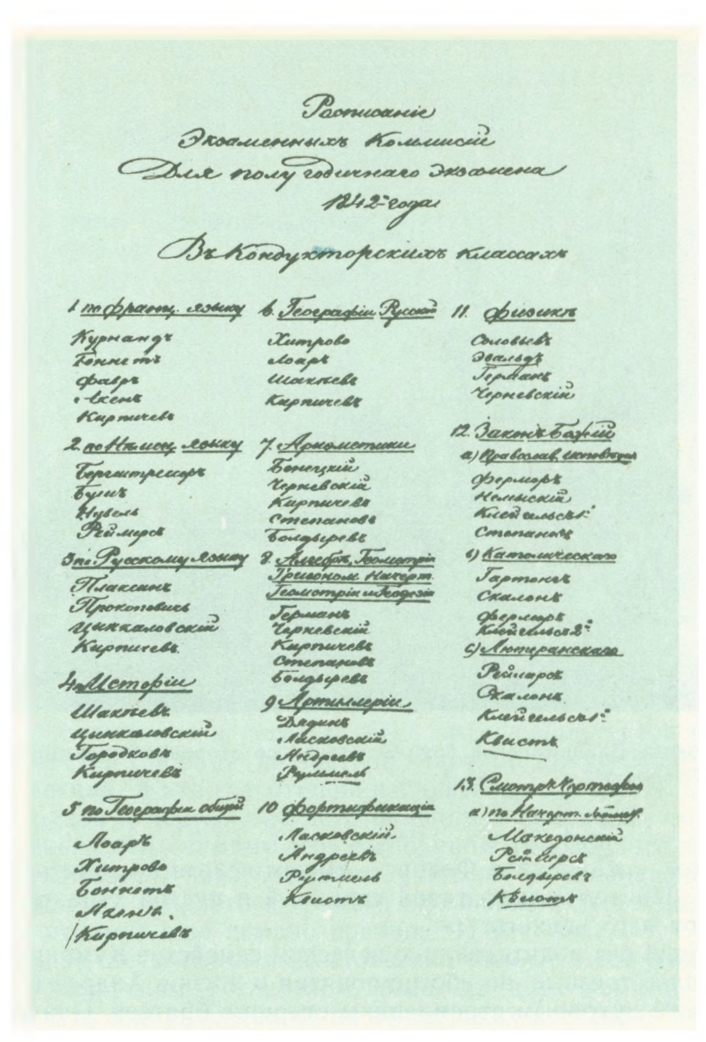
Вид на церковь Владимирской божьей матери со стороны Владимирской улицы. *Литография Середина XIX в.*

нестерпимо, — жаловался Федор. — Ничем нельзя ни заняться, ни развлечься... Притом у него такой странный и пустой характер, что это отвлечет от него всякого...»

Выросший без родителей, в купеческом семействе Куманиных, усвоивший вполне трезвые, но убогие понятия о жизни, Андрей вовсе чужд был высоким духовным стремлениям старших братьев. Оказалось, что Федору просто не о чем говорить с ним, и оттого в маленькой комнатушке им двоим было особенно тесно. А тут еще Андрей простудился и слег.

Федор старательно и даже нежно ухаживал за братом, сам поил микстурами, вставал к больному по ночам.

Весною, когда Андрей оправился после болезни, Федор стал подыскивать новое жилье. После долгих поисков он снял веселую и светлую квартиру на углу Владимирской улицы и Графского переулка в доме


Расписание
Экзаменныхъ Коммисiй
Для полугодичнаго экзамена
1842 года
Въ Кондукторскихъ классахъ

1 по франц. языку
Курнандъ
Боннетъ
Фабръ
Аксенъ
Кирпичевъ

2. по Нѣмецк. языку
Берштрессеръ
Бунъ
Нусель
Реймерсъ

3 по Русскому языку
Плаксинъ
Прокоповичъ
Цынкаловскiй
Кирпичевъ

4 Исторiи
Шахтевъ
Цынкаловскiй
Городковъ
Кирпичевъ

5 по Географiи общей
Лоаръ
Хитрово
Боннетъ
Малъ
Кирпичевъ

6. Географiи Русской
Хитрово
Лоаръ
Шахтевъ
Кирпичевъ

7. Ариѳметики
Бонецкiй
Черневскiй
Кирпичевъ
Степановъ
Болдыревъ

8. Алгебры, Геометрiи, Тригоном. Начерт. Геометрiи и Геодезiи
Германъ
Черневскiй
Кирпичевъ
Степановъ
Болдыревъ

9 Артиллерiи
Дядинъ
Масловскiй
Андреевъ
Румянцевъ

10 Фортификацiи
Масловскiй
Андреевъ
Румянцевъ
Квистъ

11. Физики
Соловьевъ
Эвальдъ
Германъ
Черневскiй

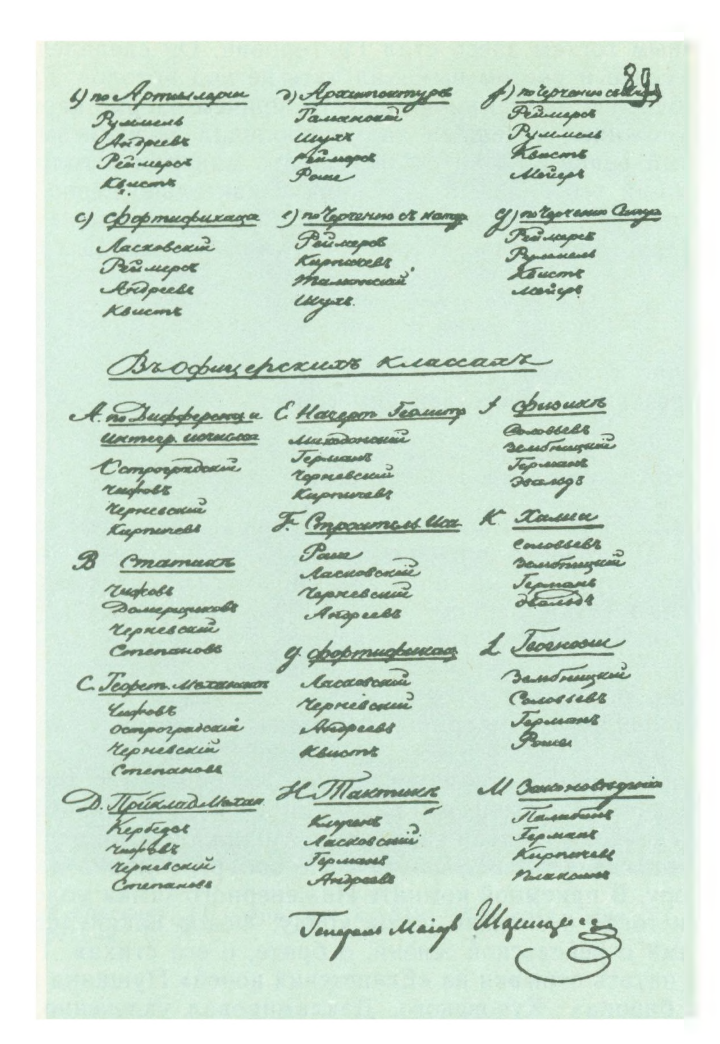
12. Закона Божiя
а) Православ. исповѣданiя
Ферморъ
Немысскiй
Клейгельсъ 1
Степановъ
б) Католическаго
Гартонгъ
Скалонъ
Ферморъ
Клейгельсъ 2
с) Лютеранскаго
Реймерсъ
Скалонъ
Клейгельсъ 1
Квистъ

13. Смотръ Чертежей
а) по Начерт. Геометр.
Македонскiй
Реймерсъ
Болдыревъ
Квистъ

Из архива Инженерного училища. Расписание экзаменационных комиссий.
*Страница первая.*

почт-директора Пряничникова. Федору очень понравился мягкий, обходительный хозяин дома, большой любитель искусств.

В квартире было три комнаты: средняя – общая, как бы при-


89

b) по Артиллерии
Руммель
Андреевъ
Реймерсъ
Квистъ

d) Архитектуре
[illegible]
Шухъ
Реймерсъ
Роше

f) по черчению [illegible]
Реймерсъ
Руммель
Квистъ
Майеръ

c) Фортификации
Ласковский
Реймерсъ
Андреевъ
Квистъ

e) по черчению съ натуры
Реймерсъ
Кирпичевъ
[illegible]
Шухъ

g) по черчению [illegible]
Реймерсъ
Руммель
Квистъ
Майеръ

Въ офицерскихъ классахъ

A. по Дифференц. и Интегр. исчисл.
Остроградский
Чижовъ
Черневский
Кирпичевъ

E. Начерт. Геометр.
[illegible]
Германъ
Черневский
Кирпичевъ

I. Физике
Соловьевъ
Зембницкий
Германъ
Эвальдъ

B. Статике
Чижовъ
[illegible]
Черневский
Степановъ

F. Строительн. Иск.
Роше
Ласковский
Черневский
Андреевъ

K. Химии
Соловьевъ
Зембницкий
Германъ
Эвальдъ

C. Теорет. Механике
Чижовъ
Остроградский
Черневский
Степановъ

G. Фортификации
Ласковский
Черневский
Андреевъ
Квистъ

L. Геогнозии
Зембницкий
Соловьевъ
Германъ
Роше

D. Приклад. Механ.
Кербедзъ
Чижовъ
Черневский
Степановъ

H. Тактике
[illegible]
Ласковский
Германъ
Андреевъ

M. Законоведении
[illegible]
Германъ
Кирпичевъ
[illegible]

Генералъ Маиоръ [illegible]

Из архива Инженерного училища. Расписание экзаменационных комиссий.
*Страница вторая.*

емная, а направо и налево от нее — комнаты братьев. Теперь присутствие Андрея не так стесняло. Можно было больше писать, чаще звать к себе приятелей.

Постоянным гостем здесь стал Григорович. Он сделался еще беззаботнее, веселее и ростом вымахал чуть не под потолок. Григорович учился живописи в Академии художеств, причем избрал карьеру театрального художника и целыми днями пропадал за кулисами.

Одаренный редким талантом подражать манерам и голосу других людей, будущий театральный художник удивительно верно представлял приятелям всех знаменитостей александринской сцены.

Стоило ему, простерши вперед руку, мрачно продекламировать:

И в хаосе разрушенного мира
Могилу дочери возлюбленной найду...

как все тотчас кричали: «Каратыгин!».

Стоило резким и вместе певучим голосом произнести:

Полки российские, отмщением сгорая,
Спешили в те места, стояли где враги...

как слушатели прыскали со смеху: «Толченов!».

Навещал Достоевского и еще один молодой человек, мечтавший стать художником, — юный и скромный Костя Трутовский. Он покуда учился в Инженерном училище, в верхнем кондукторском классе, и на Владимирской появлялся только по воскресеньям. Достоевский снабжал его книгами, толковал с ним о прочитанном, а Трутовский, отличный рисовальщик, подправлял, случалось, в архитектурных проектах товарища капители колонн и орнаменты на зданиях...

Запросто, на правах старинного друга, заглядывал к Достоевскому и студент Медико-хирургической академии Алексей Ризенкампф. Родом он был из Ревеля, где судьба свела его с Михаилом. Они подружились. Когда Ризенкампф уезжал учиться в Петербург, Михаил дал ему письмо к Федору. В приемной комнате Инженерного замка молодые люди проговорили тогда несколько часов кряду. Федор накинулся на гостя с расспросами о ревельской жизни, о брате, о его стихах. Тут же наизусть стал читать отрывки из «Египетских ночей» Пушкина и «Смальгольмского барона» Жуковского. Декламировал увлеченно, со страстью, взмахивая руками и восторженно прикрывая глаза. А потом начал жаловаться на скуку и неволю кондукторской жизни. Ризенкампф обещал наведываться к нему почаще, и с тех пор они виделись то в училище по воскресным дням, то по пятницам в гимнастическом заведении шведа де Рона возле Инженерного замка.

В летние месяцы Достоевский и сам, случалось, вырывался в гости к Ризенкампфу, который жил в доме Медико-хирургической академии. В комнате будущего врача стоял рояль. Ризенкампф прекрасно иг-



Владимирский проспект, 11 - дом, где в 1842—1845 годах жил Ф. М. Достоевский.
*Фотография.*

рал, немного даже сочинял и любил, собрав друзей, знакомить их с музыкальными новинками.

Теперь, когда Достоевский надел офицерский мундир, приятели нередко вместе бывали в концертах, в опере. Слушали знаменитого скрипача Оле-Буля, кларнетиста Блаза, тенора Рубини, были на представлении новой оперы Глинки «Руслан и Людмила». Когда в Петербург приехал гениальный Лист, Достоевский с Ризенкампфом не упустили случая послушать и его. «После одного из концертов, — рассказывал о Достоевском Ризенкампф, — в темноте, при выходе из залы,

у него была оторвана кисточка от шпажного темляка, и с тех пор... он ходил без этой кисточки, что, конечно, было замечено многими, но Федор Михайлович равнодушно отвечал на все замечания, что этот темляк без кисточки ему дорог, как память о концертах Листа».

С некоторого времени Достоевский и Ризенкампф стали видеться ежедневно.

Осенью 1842 года Андрей Михайлович, зачисленный воспитанником Училища гражданских инженеров, переехал от брата на казенную квартиру. Федор остался один в трех комнатах. Он на первых порах наслаждался тишиной и покоем. Но пришла зима — две комнаты в квартире стояли пустые, без мебели, нетопленые: не было денег на дрова. Долгими темными вечерами одному в пустой квартире становилось тоскливо. Федора мучила бессонница, чудилось, будто за стенкой кто-то громко храпит, слышались какие-то голоса. Раздраженный, вставал он с постели, зажигал свечу и читал до утра.

Надумав подыскать себе товарища, Достоевский сразу же переговорил с добродушным и дельным Алешей Ризенкампфом. Вскоре молодой медик водворился в квартире на Владимирской. Тут-то он и пригляделся хорошенько к причудливой натуре своего друга.

Поразительнее всего было в Федоре Михайловиче его полнейшее презрение к тому, что именуется собственной выгодой. Он с удивительной легкостью жертвовал ею и, казалось, с особенным удовольствием делал это бесцельно, из каприза или просто шутки ради. Както раз, получив из Москвы деньги от опекуна, Достоевский, долго сидевший без копейки, отправился куда-то в клуб и проиграл изрядную сумму на бильярде. Случайный партнер, которого он зазвал в гости и на минуту оставил одного в комнате, стащил лежавшие незапертыми последние пятьдесят рублей. В другой раз, получив московские деньги, Федор Михайлович решил отправиться поужинать в известный ресторан Доменика. Подсевший к нему подозрительного вида господин предложил выучить его игре в домино, уверяя, что это совершенно невинная и честная игра. Урок, однако, обошелся дорого — около сотни рублей... Но что говорить о шулерах! Его обсчитывали все: прачка, портной, цирюльник, сапожник. Ризенкампф пытался было открыть другу глаза на их проделки, но тот наотрез отказался проверять счета. Узнав, что и денщик его немилосердно обкрадывает, Федор Михайлович заявил: «Пусть себе ворует. Не разорюсь я от этого».

Полунищий лекарский сын держал себя как Крез, не желая подчиняться всеми признанной власти денег. И потому, верно, он с особенной легкостью и так нарочито весело сорил полученными от опекуна сотнями, что за каждым присланным рублем ему виделась сытая, важная физиономия Карепина и слышались отечески-снисходительные наставления мещанина.

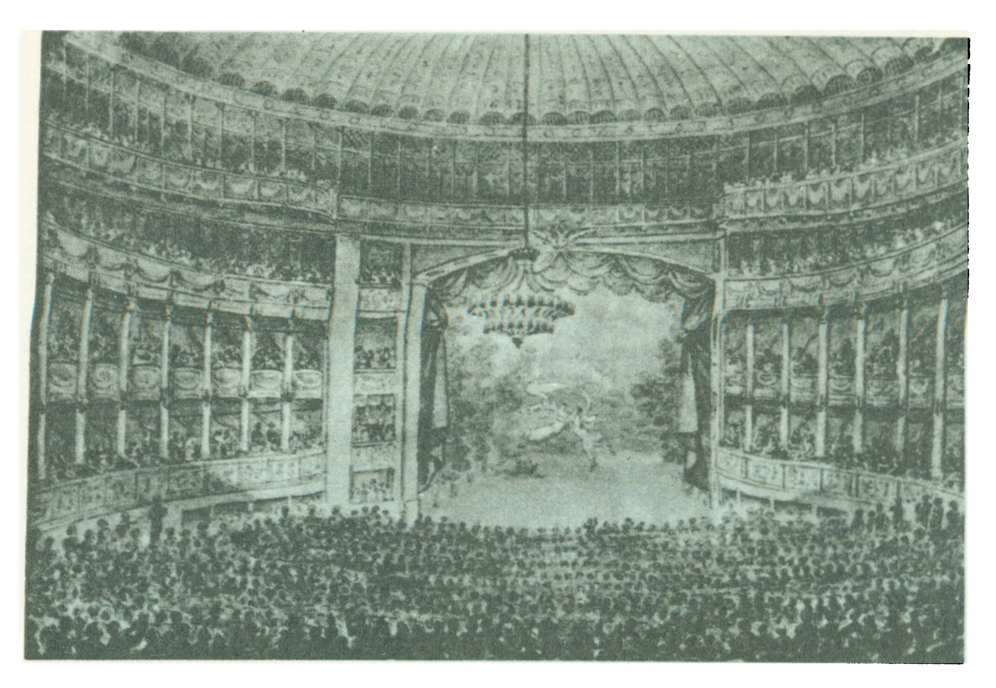
Как-то, в намеренье развлечь своего товарища, Ризенкампф попробовал ввести его в те дома, где бывал сам, к людям весьма почтенным — бельгийцу Монтиньи, служившему механиком при Арсенале, фабриканту швейцарцу Шугарту, немцу фон Чуди. Но разговоры чинных, солидных бюргеров, к удивлению Ризенкампфа, вызывали у Достоевского нечто неожиданное — приступы страшного раздражения и даже ярости. Однажды он так разругал явившихся к Ризенкампфу благопристойных немцев, что те сочли его сумасшедшим и поспешили уйти. А Достоевский, посмеиваясь, просил Ризенкампфа избавить его от подобных знакомств:

— Нет уж, уволь, пожалуйста! К чему это? Они еще женят меня на какой-нибудь француженке, и тогда прощай русская литература! Нет, нет!..

Несколько лет спустя в письме к брату Достоевский выразил ту же мысль по-иному: «...Как много отвратительных подло-ограниченных седобородных мудрецов, знатоков, фарисеев жизни, *гордящихся* опытностию, то есть своею безличностию (ибо все в одну мерку сточаны)... которые вечно проповедуют довольство судьбой, веру во что-то, ограничение в жизни и довольство своим местом, не вникнув в сущность слов этих, — довольство похожее на монастырское истязание и ограничение, и с неистощимо мелкою злостью осуждающих сильную, горячую душу невыносящего их пошлого, дневного расписания и календаря жизненного. Подлецы они, с их водевильным, земным счастьем. Подлецы они! Встречаются иногда и бесят мучительно».

## «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!»

В ящике его письменного стола лежали две почти оконченные драмы. Он подумывал о том, чтобы снести их в театр. Мысленно примеривая главные роли своих пьес на первых столичных актеров, не пропускал теперь ни одного сколько-нибудь замечательного спектакля. Видел знаменитого Каратыгина в «Гамлете»: статный, красивый, гордый, тот был холодноват, но скульптурно отчетлив и благороден в каждом жесте, в каждом движении. Порою Каратыгин умел без единого слова очертить характер своего героя. В драме «Велизарий», когда полководец-триумфатор появлялся на сцене в торжественной колеснице, влекомой народом, в одной лишь его осанке и во взгляде выражалось столько величия, что театр восторженно вскипал рукоплесканиями. Когда же оклеветанный герой, не в силах отвечать на обвинения, лишь печально заворачивался в тогу



Петербургский Большой театр. Зрительный зал.
*Литография С. Галактионова, 20-е годы XIX в.*

и долго стоял так, недвижно и в молчании, зрительный зал тоже замирал, недвижный и потрясенный. В мольеровском «Тартюфе», возобновленном на Александринской сцене, являлся молодой комик Мартынов, в котором проницательные ценители уже угадывали великого артиста. Пеструю вереницу пустых и порою забавных водевилей расцвечивал своею веселостью изящный и музыкальный Дюр, представлявший все больше лихих повес, франтов, волокит, но порою и «комических стариков»... Точно голодный на лакомство, накинулся Достоевский на театральные удовольствия. Он стал ходить и в оперу, и даже в балет.

В театре изучал он игру актеров, законы сцены. Дома неустанно перечитывал великих драматургов прошлого. Читая, он невольно становился рядом с Шекспиром, с Шиллером, все время прикидывая: а как бы он сам написал вот эту реплику, вот эту сцену?.. Такое непрестанное, изо дня в день, соревнование с мастерами было нелегкой школой. Но его увлекало это самостоятельное постижение сокровенных за-

конов и приемов искусства, изучение людских страстей и характеров, человеческой психологии. Писателей, изображающих страсти, ставил он особенно высоко. Пусть даже в произведениях некоторых из них поэтическая форма поражала его странными условностями, казалась устарелой — он легко прощал эти внешние недостатки ради выстраданной, открытой ими высокой правды о человеческом сердце.



В. Каратыгин в роли Гамлета.
*Гравюра. 20-е годы XIX в.*

Как-то в одном из писем к нему Михаил пренебрежительно отозвался о «старике» Корнеле. Федор вознегодовал и тотчас же по-братски отчитал своего корреспондента: «Теперь о Корнеле. Послушай, брат. Я не знаю, как говорить с тобою; кажется, àla Иван Никифорович: *«гороху наевшись»*. Нет, не поверю, брат! Ты не читал его и оттого так промахнулся. Да знаешь ли, что он по гигантским характерам, духу романтизма — почти Шекспир. Бедный! У тебя на все один отпор: «классическая форма»... Читал ли ты: «Le Cid»? Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах пред Корнелем. Ты оскорбил его! Прочти, прочти его. Чего же требует романтизм, ежели высшие идеи его не развиты в Cidě?.. Впрочем, не сердись, милый, за обидные выражения, не будь Иваном Ивановичем Перерепенко».

Чтобы не обидеть брата, свою взволнованную речь в защиту автора «Сида» он и начал и окончил шутливыми ссылками на гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». И так всегда — лишь только хотел он сказать что-нибудь забавное — на язык невольно просились смешные словечки и выражения из Гоголя: «Лентяй ты такой, Фетюк, просто Фетюк!» «...Я совершенно согласен с гоголевым Поприщиным: Письма вздор, письма пишут аптекари...»

В первый раз он взял в руки Гоголя еще в Москве, в пансионе Чермака. Поначалу автор «Коляски» и «Носа» более всего нравился ему именно блеском и остротой оборотов, неистощимой роскошью словесных узоров, сплетавшихся в упругую ткань его произведений. Гоголь пленял его неподражаемой способностью выставлять в фантастическом свете самые, казалось бы, скучные фигуры и происшествия привычной,



Н. В. Гоголь.
*Рисунок К. Мазера. 1840 г.*

обыденной жизни. Он читал повести Гоголя с наслаждением, с восхищением. И все же его почтительно обнаженная голова склонялась тогда перед творениями иного рода. Шекспир, трагедия — так в двух словах мог бы он обозначить свои литературные пристрастия.

Как-то Михаил сообщил ему, что пишет драму, и пересказал ее содержание. «Сюжет твоей драмы прелестен, — отвечал Федор, — видна верная мысль, особенно то нравится мне, что твой герой, как Фауст, ища беспредельного, необъятного, делается сумасшедшим именно тогда, когда он нашел это беспредельное и необъятное — когда он любим. Это прекрасно! Я рад, что тебя чему-нибудь научил Шекспир».

Беспредельные, необъятные стремления духа, величественные, необузданные страсти, бурные трагические характеры — все это он и сам

ПОВѢСТЬ

о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.

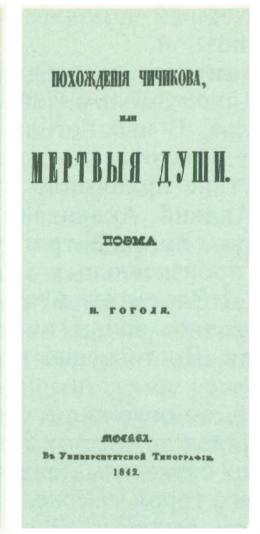
=

ГЛАВА I.

Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ.

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнѣйшая! А какія смушки! Фу ты пропасть, какія смушки! сизыя, съ морозомъ! Я ставлю, Богъ знаетъ что, если у кого-либо найдутся такія! Взгляните, ради Бога, на нихъ особенно, если онъ станетъ съ кѣмъ-нибудь говорить, взгляните съ боку: что это за объѣденіе! Описать нельзя:

томъ II. 25



ПОХОЖДЕНІЯ ЧИЧИКОВА,

или

МЕРТВЫЯ ДУШИ.

ПОЭМА

Н. ГОГОЛЯ.

МОСКВА.

Въ Университетской Типографіи.

1842.

ШИНЕЛЬ.

Въ департаментѣ.... но лучше не называть въ какомъ департаментѣ. Ничего нѣтъ сердитѣе всякаго рода департаментовъ, полковъ, канцелярій и, словомъ, всякаго рода должностныхъ сословій. Теперь уже всякой частный человѣкъ считаетъ въ лицѣ своемъ оскорбленнымъ все общество. Говорятъ, весьма недавно поступила просьба отъ одного капитана-исправника, не помню какого-

Сочинения Гоголя: «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». *Первопечатный текст;*
«Мертвые души». *Первое издание;*
«Шинель». *Первопечатный текст.*

стремился изобразить в своей «Марии Стюарт» и в своем «Борисе Годунове».Он по десять раз переписывал каждую сцену, чтобы потом вымарать ее и заменить другой, которую тоже без конца переделывал. И с каждым днем все явственнее виделось: не то, не то. . . Его заветные мысли, те, что мечтал он высказать, казалось, случайно заблудились среди шотландских дворцов и русских теремов и бродят там как неприкаянные. Нужны иные положения, иные лица, другие слова, чтобы выразить все накопившееся в душе.

И вот тут-то как раз явились эти новые, поразительные создания Гоголя!

Летом 1842 года вышел первый том «Мертвых душ». Достоевский читал его и перечитывал — и про себя, и вслух приятелям. «Тогда это бывало между молодежью, — рассказывал он после, — сойдутся двое или трое: «а не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь». Избрав предметом своей новой книги плутовские проделки подлеца приобретателя, Гоголь умудрился таким образом переплавить, пересоздать комический, «низкий», совсем, казалось бы, не поэтический сюжет, что каждая строка его «Мертвых душ» зазвучала

благородным металлом чистейшей поэзии. Ведь недаром Гоголь и сам назвал свое сочинение поэмой..

Не успел остыть первый восторг от чтения «Мертвых душ», а из петербургской типографии вышел 3-й том Собрания сочинений Гоголя, где явилась повесть «Шинель». В ней Гоголь точно так же сметал и опрокидывал привычные литературные представления. В его повести заурядное уличное происшествие принимало размеры мирового события, а букашка-чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин вырастал в фигуру огромную, страшную, истинно трагическую. Сердце переворачивалось в груди от этих пронзительных слов беззащитного, убогого существа: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?»...

Много лет спустя, оглядываясь назад, на тот путь, что прошел он сам и писатели его поколения, Достоевский мог сказать: «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя».

А тогда, осенью 1842 года, он отложил в сторону две свои незавершенные драмы и вскоре принялся за третью. Главным лицом в ней был уже не царь, не королева, но безвестный еврей Янкель. Не случайно, должно быть, он назвал своего героя так же, как звали одного из персонажей гоголевского «Тараса Бульбы»...

Страстно, напряженно, мучительно работал инженер-прапорщик Достоевский, отыскивая свою дорогу в литературе. Вот уже и третья его драма пухлой грудой черновиков возвышалась над письменным столом, а он по-прежнему не сказал еще ничего из того, что мечтал, что необходимо должен был сказать.

Он писал, правил, писал наново и снова ожесточенно правил. И так проходили месяц за месяцем.

Между тем труды его на поприще военно-инженерных наук продолжались своим чередом. Подошла весна, а с нею экзамены: последние в его жизни — выпускные. Опять адская зубрежка, бессонные ночи и, наконец, — выпуск.

30 июня 1843 года Алексей Ризенкампф лежал больной в своей постели. Вдруг дверь его комнаты отворилась и вбежал Достоевский — радостный, бодрый, взволнованный. Он с порога объявил, что принимает поздравления, что отныне он уже не школяр: училище окончено и он определен на службу в чертежную инженерного департамента, что покуда имеет отпуск в город Ревель на двадцать восемь дней, что желает ввиду всего этого весело отобедать и решительно требует, чтобы Ризенкампф немедленно вылезал из постели и отправлялся вместе с ним в ресторан.

Не слушая возражений, Достоевский стащил приятеля с кровати, заставил одеться, усадил в пролетку и повез на Невский проспект, к Лерху. Там он потребовал отдельную комнату с роялем, заказал роскошный обед, велел подать шампанского. Они выпили, Ризенкампф сел

к роялю, сыграл одну пьесу, другую и — вопреки всем законам медицины — выздоровел.

На следующее утро Ризенкампф проводил Федора Михайловича на пароход, отправлявшийся в Ревель.

## «Служба надоела, как картофель»

Летом 1843 года в Петербург приехал знаменитый французский писатель Бальзак. Извещая своих читателей об этом событии, петербургская газета «Северная пчела» писала: «Прежде всего поделимся с читателями известием, любопытным для всех любителей литературы, — на пароходе «Девоншир», прибывшем из Лондона и Дюнкирхена в прошлую субботу 17-го числа, приехал известный французский писатель Бальзак. Говорят, что он намерен провести у нас всю зиму».

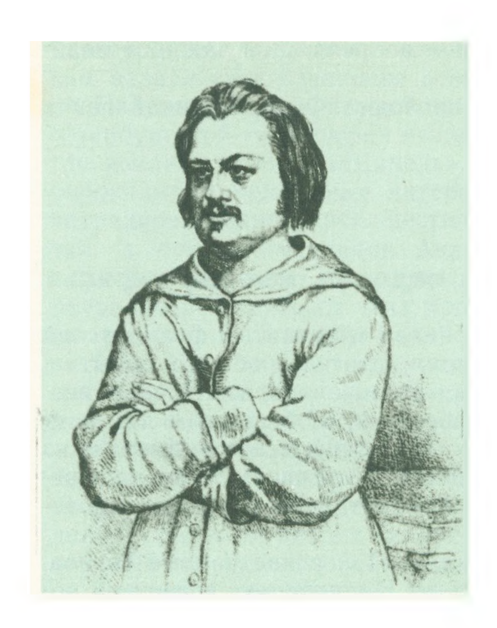
Бальзак поселился на Большой Миллионной улице, в доме Титова.

Не успел великий романист выехать из Парижа, как вслед ему полетела шифрованная депеша от поверенного в делах России во Франции Киселева к российскому министру иностранных дел графу Нессельроде. Депеша касалась весьма тонкого дела по поводу книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году».

Маркиз де Кюстин — убежденный монархист — побывал незадолго перед тем в России, чтобы воочию убедиться, сколь благодетельно для страны самодержавное правление. Но то, что он увидел, привело его в ужас. И, возвратившись во Францию, он выпустил книгу, где выставил в весьма невыгодном свете и российское правительство, и русские порядки. Император Николай Павлович разгневался донельзя. Так описать Россию! И вот Киселеву пришло на ум уговорить Бальзака печатно опровергнуть «пасквиль» Кюстина и обелить Российскую империю в глазах Европы.

Но Бальзак был занят своими личными делами, и только ими.

Между тем о его пребывании в России по Европе ходили всевозможные толки. Так, издававшаяся в Баварии «Аугсбургская газета» уверяла, что, приехав в Петербург, Бальзак послал императору Николаю такую записку: «Господин де Бальзак-писатель и господин де Бальзак-дворянин покорнейше просит его величество не отказать ему в личной аудиенции», на что Николай якобы собственноручно ответил: «Господин де Бальзак-дворянин и господин де Бальзак-писатель могут взять почтовую карету, когда им заблагорассудится». Газета также уверяла, что обиженный Бальзак будто бы немедленно покинул Петербург.



О. Бальзак.
*Литография. 40-е годы XIX в.*

Это были международные толки. Но что вполне соответствовало действительности, так это то, что власти и высшее петербургское общество приняли Бальзака чрезвычайно холодно. «Я получил пощечину, предназначавшуюся Кюстину», — сказал Бальзак.

Иначе к его приезду отнеслись читающие жители столицы. Вездесущий Григорович рассказывал, что в театре публика устроила Бальзаку овацию.

В октябре, сообщая об его отъезде, «Северная пчела» заключила: «Бальзак навсегда останется одним из первых писателей своей эпохи».

Инженер-подпоручик Федор Достоевский вполне разделял это мнение. «Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека».

Он преклонялся перед Бальзаком, писателем и человеком. Безвестный юноша одержимостью, трудом и гением завоевавший Париж... Да что Париж! Весь мир!..

А он сам? Как завоевывает он Петербург?

Каждое утро отправлялся он теперь в чертежную Первого отделения военного департамента и с линейкой и циркулем вычерчивал планы фасадов казарм, цейхгаузов, караулен. Его посылали наблюдать за строительными работами в Кронштадтской крепости, где трудились арестанты в кандалах.

Школьное честолюбие утихло в нем — не было больше соревнования с товарищами, экзаменов, баллов. Прежние ученические добродетели — старательность, исполнительность — казались смешными и детскими. Он их перерос. Порою его чертежи, составленные неправильно, без масштаба, возвращались обратно с резкими замечаниями начальства. Федор выслушивал почтительно, но так равнодушно, будто дело касалось кого-то другого. Он ничего не мог поделать с тем, что в его голове для фортификации с архитектурой оставалось все меньше места... «Сидя или колотясь на работах, смотря как кладут кирпичи, не много

отрадных мыслей войдет в голову»,— признавался он Михаилу. И все чаще подумывал об отставке.

Но как он будет жить? Чем добудет себе каждодневное пропитание? Его давно подмывало попробовать заработать себе на жизнь литературой, заняться переводами... Да, его спасут переводы: занятие по душе, заработок и избавление от долгов. Драмы свои он считал неотделанными, незаконченными, не надеялся на них и боялся показать их людям, имеющим касательство до театра. А переводы при нынешнем положении вещей — верный кусок хлеба. Сумей он зарабатывать литературным трудом — и побоку эполеты, прощай служба! Он независим, свободен. Да почему бы и не заработать? Французские романы наполняют отделы словесности всех журналов, у публики идут нарасхват. Про известного переводчика Струговщикова рассказывают, что он на переводах нажил состояние. Да и других немало. С чего начать? Конечно, с Бальзака. Лучшего не придумаешь. «Нужно тебе знать, — писал он Михаилу, — что на праздниках я перевел Евгению Grandet Бальзака (Чудо! чудо!). Мой перевод бесподобный. Самое крайнее мне дадут за него 350 руб. ассигнациями. Я имею ревностное желание продать его, но у будущего тысячника нет денег переписать; времени тоже. Ради ангелов небесных пришли 35 руб. ассиг. (цена переписки)».

При его манере обращаться с деньгами скромного жалования не хватало. Суммы, изредка присылаемые из Москвы — доходы с имения, — тоже проскальзывали между пальцами. Он был весь в долгах. Дошло до того, что пришлось спознаться с ростовщиком. Имелся в Петербурге отставной унтер-офицер, служивший некогда во Втором сухопутном госпитале приемщиком мяса у подрядчика. На этой приемке погрел он руки, сколотил капиталец и теперь промышлял тем, что давал под залог деньги за зверские проценты. К нему и вынужден был обратиться Федор Михайлович. Чтобы раздобыть денег, он дал ростовщику доверенность с поручительством казначея Инженерного

**ЕВГЕНІЯ ГРАНДЕ́.**

—

РОМАНЪ Г-НА ОНОРЕ́ ДЕ-БАЛЬЗАКА*.

—

ГЛАВА I.

*Провинціальные типы.*

Иногда въ провинціи встрѣчаешь жилища, съ виду мрачныя и унылыя, какъ древніе монастыри, какъ дикія грустныя развалины, какъ сухія, безплодныя, обнаженныя степи; заглянувъ подъ крыши этихъ жилищъ, и въ-самомъ-дѣлѣ часто найдешь жизнь вялую, скучную, напоминающую своимъ однообразіемъ и тишину монастырскую, и скуку обнаженныхъ, дикихъ степей. Право, проходя возлѣ дверей такого дома, невольно сочтешь его необитаемымъ; но скоро однакожъ разувѣришься: подождавъ немного, непремѣнно увидишь сухую, мрачную фигуру хозяина, привлеченнаго къ окну шумомъ шаговъ на улицѣ.

Такой мрачный видъ унынія, казалось, былъ отличительнымъ признакомъ одного дома въ городѣ Сомюрѣ. — Домъ стоялъ на концѣ улицы, неровной, кривой, ведущей къ старинному замку; улица эта, почти всегда пустая и молчаливая, замѣчательна звонкостію своей неровной, булыжной мостовой, всегда сухой и чи-

* Это одинъ изъ первыхъ и, безспорно, изъ лучшихъ романовъ плодовитаго Бальзака, который, въ послѣднее время, замѣтно *исписался*. Сколько намъ извѣстно, романъ этотъ въ русскомъ переводѣ напечатанъ не былъ, а потому мы надѣемся угодить многимъ изъ нашихъ читателей, помѣстивъ его въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ.» *Ред.*

Роман О. Бальзака «Евгения Гранде» в переводе Ф. М. Достоевского.
*Страница журнала «Репертуар и Пантеон».*

управления. По этой доверенности ростовщик получил вперед жалованиe подпоручика за первую треть 1844 года. Причем из трехсот рублей сто считались процентами.

Но теперь — теперь все изменится...

Поразведав, как обстоят дела на книжном рынке, решил он взяться за перевод с французского большого романа Эжена Сю «Матильда, или Исповедь молодой женщины». Первая часть «Матильды» была уже переведена за год перед тем и возбудила живейшее любопытство публики. Продолжения не последовало. А роман ждут. Если взяться за дело хватко, быстро перевести, то к началу наступающего 1844 года дело будет сделано. Правда, в столь малый срок одному не сдюжить. Надо еще кого-нибудь. Достоевский заразил своим энтузиазмом товарища по училищу Оскара Паттона. Они сговорились: вместе переведут, вместе напечатают и поделят барыши. Паттон был знаком с известным литератором, профессором и цензором Никитенко. Тот предсказывал успех.

Обегали все бумажные лавки, всех типографщиков. За бумагу вперед требовали треть цены — остальное в долг, под залог отпечатанных экземпляров. Нашелся француз-типографщик, согласившийся за тысячу рублей все отпечатать и ждать полной расплаты до продажи книг.

Чтобы ускорить предприятие и найти недостающие деньги, решили привлечь и Михаила. «Мы разделяем труд на три равные части и усидчиво трудимся над ним... Переводить нужно начисто прямо, т. е. разборчиво. У тебя хороша рука и ты можешь это сделать... Денег нужно самое малое 500 руб. сереб. У Паттона готовы 700 [1]. Мне пришлют в Генваре руб. 500 (ежели же нет, то я возьму вперед жалованье). С своей стороны ты распорядись, чтобы иметь к февралю 500 руб. (к 15-му числу), хоть возьми жалование. С этими деньгами мы печатаем, объявляем и продаем экземпляры по 4 руб. сереб. (Цена дешевая, французская). Роман раскупается... 300 экземпляров окупают все издержки печати. Пусти весь роман в 8 томах по целковому, у нас барыша 7 тысяч».

Дело казалось верным.

Но вдруг Паттон заявил, что уезжает служить на Кавказ. Обещанных денег не дал. Все планы рушились.

Пришлось срочно писать Михаилу. «Все эти причины понудили меня просить тебя, друг мой, оставить покамест перевод. Весьма в недолгом времени уведомлю тебя о последнем решении; но вероятно не в пользу перевода».

---

[1] Имеется в виду 700 рублей ассигнациями. Рубль ассигнациями равнялся 33,5 копейки серебром.

Федор Михайлович не ошибся. Столь, казалось бы, блестяще задуманное предприятие лопнуло, как мыльный пузырь.

Правда, «Евгению Гранде» Бальзака удалось пристроить в журнал «Репертуар и Пантеон». Ее напечатали.

Происшествие же с «Матильдой» не расхолодило Достоевского. Он еще ревностнее взялся за дело — начал переводить повесть Жорж Санд «Последняя Альдини». И вдруг опять неудача, да еще какая! Работа подходила к концу, когда обнаружилось, что повесть уже несколько лет как переведена и напечатана.

Да, карьера переводчика оказалась не столь доступной и доходной, как мнилось поначалу.

Другой, более слабый духом, непременно впал бы в отчаяние, отказался бы от мечтаний. Но только не он — Федор Достоевский. Неудачи, казалось, лишь раззадоривали его. Жизнь бросала ему вызов — он его принял.

Он обдумывал новые литературные планы — еще более грандиозные, более заманчивые. Вопреки житейской мудрости, наперекор ей, именно теперь он утвердился в мысли безотлагательно бросить службу, выйти в отставку и целиком заняться «изящной словесностью». «Служба надоела, как картофель», — писал он Михаилу. И будь что будет, а он навсегда расстанется с постылой чертежной инженерного департамента.

## «Видение на Неве»

Сестре Вареньке писал он редко. То, что лежало на сердце, то, что желал бы он ей сказать, было не для бумаги, не для чужих глаз. И потому он посылал лишь поздравления — к Варварину дню, на Новый год. Так было и в декабре 1843 года.

«Милая сестрица! Давным-давно уже не писал я ничего тебе; винюсь душевно, но видишь ли, я избалован твоею добротою и расположением ко мне и потому всегда надеюсь на прощение. Со мною нужно быть строже и злопамятнее — два качества, совершенно противных твоему доброму, любящему сердцу. Желаю тебе счастья большего и большего, добренькая сестрица. Желаю счастья и здоровья и малюткам твоим. Пусть вырастут тебе на радость и утеху. Искренее желание мое прими, а за видимую холодность (молчание) не сердись. Каюсь перед тобой! Но ведь ты простишь мне, я это знаю. Прощай, милая Варенька. . .»



Варвара Михайловна, сестра Достоевского.
*Акварель Стрелковского. 1840 г.*

В ночные часы, когда, случалось, не спалось, вспоминалась ему Москва, думалось о сиротах — братьях и сестрах. Особенно о Вареньке. Тетенька Александра Федоровна гордилась, верно, тем, что удачно пристроила бедную племянницу. «Блестящая партия...» А Федор до боли, до бешенства жалел сестру, отданную во власть какому-то Карепину, который почему-то представлялся ему огромным мужчиной с бычьей шеей. И рядом — Варенька, беспомощная, юная.

Но что он мог поделать, как воспротивиться? Сестру, верно, не неволили. Сама заторопилась, только бы не быть приживалкой, не есть чужой хлеб, не услыхать от тетеньки упрека в неблагодарности. Варенька не жаловалась на свою судьбу, но при мысли о ней нестерпимо болело сердце.

Чаще всего он вспоминал сестру девочкой в Даровом. Вот она сидит подле маменьки с куклой в руках. Вот она на крыльце в белом платье пристроилась рядом с няней Аленой Фроловной и что-то вышивает. Вот гуляет с няней по опушке рощи, и ее белое платье то мелькнет, то исчезнет в зеленых зарослях.

Роща в Даровом... В детстве она манила его несказанно. Убегать далеко одному не разрешали, но он все же убегал. Он любил забраться в самую чащобу, туда, где начинаются овраги — крутые, глубокие, поросшие деревьями, верхушки которых приходятся вровень с краем пропасти. Какой странной смесью детской отваги, любопытства и страха наполняли его душу эти прогулки украдкой в таинственном летнем лесу...

И другое воспоминание часто посещало его. Широкий, поросший травою двор Мариинской больницы для бедных в Москве. Рано поутру на ступеньках у входа стоят, сидят, лежат явившиеся с ночи пациенты — хромые старики, сгорбленные старухи, до невозможности худые мужики, увечные мастеровые, бедно одетые люди невесть какого звания, бабы с орущими младенцами, замотанными в тряпье. Докторским детям, конечно, запрещали подходить к ним близко, да он и сам лишь изредка заглядывал в тот конец двора. Детской душе не по силам было зрелище человеческой немощи, уродства и унижения. Он убегал и прятался, он стыдился, точно сам был виноват в несчастьях этих жалких людей...

Теперь судьба опять столкнула его с такими же точно бедняками, как те, что когда-то тянулись на Божедомку. Это были пациенты его соседа доктора Ризенкампфа.

Вот в прихожей раздается прерывающееся, несмелое дребезжание колокольчика, и в дверях появляется очередной посетитель — испитой, в худой одежонке, смущенный и суетливый.

— Что вам угодно?

— Животом, батюшка, маюсь...

— К доктору сюда. Проходите.

Алексей Ризенкампф принимал больных бесплатно: молодому медику нужна была практика. Те, кто платили деньги, шли к врачам посолиднее, с какой ни на есть «репутацией». А беднякам, зачастую не имевшим за душой гроша ломаного на хлеб, не то что на лечение, привередничать не приходилось. И пациенты к Ризенкампфу шли и шли.

Нередко, когда Ризенкампфа не было дома, встретив в прихожей больного, Достоевский вел его к себе, усаживал, расспрашивал, поил чаем. Случалось, день-два спустя больной заглядывал уже не к доктору, а к его соседу — потолковать, закусить, обогреться.

Особенно усердно посещал Достоевского некий молодой человек

по фамилии Келер — вертлявый, угодливый, почти оборванный, он рекомендовал себя комиссионером, то есть брался выполнять всевозможные поручения, «комиссии». По склонности или по обстоятельствам молодой человек не брезговал и ролью нахлебника, приживала. Заметив, как охотно Федор Михайлович слушал его рассказы, комиссионер стал являться к нему ежедневно — к завтраку, к обеду, к ужину. И все рассказывал презабавные и престранные анекдоты из жизни петербургских подвалов, чердаков, «доходных квартир» и «доходных углов».

Проводив Келера или кого-либо другого из пациентов Ризенкампфа, Достоевский иной раз присаживался к столу и записывал для памяти услышанное от гостя словцо, фразу, подробность. Постепенно нутро столичных трущоб открылось ему вплоть до самых ничтожных и самых страшных житейских подробностей.

«У нас чижики так и мрут. Мичман уже пятого покупает, — не живут в нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют и намочат везде, зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната недалеко, то есть почти примыкает к кухне, то запах от белья меня беспокоит немного, но ничего: поживешь и попривыкнешь. С самого раннего утра... у нас возня начинается, встают, ходят, стучат — это поднимаются все, кому надо, кто в службе или так, сам по себе; все пить чай начинают. Самовары у нас хозяйские, большею частию, мало их, ну так мы все очередь держим; а кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому голову вымоют...»

Достоевский попытался было заглушить в себе чувство вины перед теми, кто обижен и несчастен. Чтобы избавиться от мучительного беспокойства, он и принялся строго и беспристрастно исследовать существо людской жизни, людских характеров. В своих драмах обратился к временам давно минувшим, а характеры избрал с чертами величия и вместе злодейства. Но нет — роль спокойного, стороннего наблюдателя окружающей жизни никак не давалась ему. Он все чувствовал себя в долгу и перед бедной сестрицей Варенькой, и перед тем убогим чиновником, что вчера ввечеру приходил за советом к Алеше Ризенкампфу...

Как-то — это было в декабре 1843 года — Федор вытащил из ящика письменного стола свои неоконченные драмы. Перечел — в который уж раз! — и с досадою сунул обратно в ящик. Растянуто, холодно, слабо. Надо писать иначе. И писать о другом, совсем о другом!.. Внезапно и с необыкновенной отчетливостью увидел он то, о чем станет теперь писать. Это было как откровение, как нечто сверхъестественное. Через много лет в одной из своих статей он назвал случившееся с ним — «видением на Неве».



Петербургская улица в дождь.
*Акварель К. Кольмана. 30-е годы XIX в.*

«И замерещилась мне тогда другая история, — в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое... а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история».

Горячо, торопливо набросал он первые страницы будущего романа. Оскорбленную и грустную девочку, свою героиню, назвал именем сестры — Варенькой. И в память добрых сельских воспоминаний их детства дал ей фамилию Доброселова. И старую няньку Вареньки назвал так же, как звали их няньку, — Фроловной. А богатую родственницу, которая, пользуясь беззащитностью сироты, хочет запродать ее некоему помещику Быкову, окрестил Анной Федоровной, почти как звали московскую тетушку.

Варенька, сбежавшая от «благодетельницы», поселилась в огромном, набитом жильцами доме неподалеку от набережной Фонтанки и Гороховой улицы — это рукой подать от его Владимирской улицы. И здесь же, в том же доме, чтобы только быть поближе к Вареньке,



**Чиновник и дети, просящие милостыню.**
***Картина Ф. Журавлева. Середина XIX в.***

снимает угол полунищий чиновник, немолодой и неказистый, со странным, каким-то наивно-трогательным прозванием — Макар Девушкин. То самое титулярное сердце, честное и чистое. Девушкин влюблен в Вареньку и в своем темном, грязном и зловонном углу чувствует себя счастливым, когда в окошке — через двор, напротив — видит ее головку, склоненную над шитьем. Варенька безрадостное и безнадежное свое существование скрашивает воспоминаниями о прекрасных днях детства, в котором было и приволье тихой деревенской жизни, и одинокие прогулки украдкой в веселой и таинственной роще.

«...Деревья так приветно шумели, так важно качали раскидистыми верхушками, кустики, обегавшие опушку, были такие хорошенькие, такие веселенькие, что, бывало, невольно позабудешь запрещение, перебежишь лужайку как ветер, задыхаясь от быстрого бега, боязливо

оглядываясь кругом, и вмиг очутишься в роще, среди обширного, необъятного глазом моря зелени, среди пышных, густых, тучных, широко разросшихся кустов...»

И рядом с этими светлыми, совсем простенькими и обыкновенными картинками давно прошедшего, какой странной, какой давящей и даже невероятной — точно тяжелый сон — кажется сама ежедневная петербургская явь.

«...Вышел я походить по Фонтанке. Вечер был такой темный, сырой. В шестом часу уж смеркается, — вот как теперь! Дождя не было, зато был туман, не хуже доброго дождя. По небу ходили длинными, широкими полосами тучи. Народу ходила бездна по набережной, и народ-то как нарочно был с такими страшными, уныние наводящими лицами, пьяные мужики, курносые бабы-чухонки, в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш брат по какой-нибудь надобности; мальчишки, какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, чахлый, с лицом, выкупанным в копченом масле, с замком в руке; солдат отставной, в сажень ростом, — вот какова была публика... Судоходный канал Фонтанка! Барок такая бездна, что не понимаешь, где все это могло поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками да с гнилыми яблоками, и все такие грязные, мокрые бабы. Скучно по Фонтанке гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые; под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня».

Светлые детские воспоминания, промозглые петербургские дни — все это переплеталось, сталкивалось в его душе, завязывалось тугими узлами сюжета, расцвечивалось найденными на ходу подробностями, все это сгущалось и формировалось, обретая живые черты живых людей... Все это становилось романом.

## «Я пойду по трудной дороге»

Всего несколько дней прошло с той минуты, как начал он своих «Бедных людей» — так назвал он роман, — а уже не было для него ничего важнее истории титулярного советника Макара Девушкина и несчастной девочки Вареньки Доброселовой.

Всякое утро он точно через силу натягивал свой черный мундир и нехотя плелся в инженерный департамент. Столь дорогие для писателя утренние часы, когда голова свежа, когда мысль работает бодро, весело, смело, уходили ни на что, впустую — и безвозвратно... Самый вид чертежной готовальни был ему ненавистен. Семь лет он послушно

и добросовестно тянул лямку — зубрил, высчитывал, измерял, вычерчивал, вырисовывал. Семь лет он позволял другим командовать собой. Семь лет... Теперь довольно. Его путь был избран. Перечитав первые страницы «Бедных людей», он понял, что обретает, наконец, право начать новую, вольную жизнь. Разумеется, он вовсе не был уверен, что заработает на хлеб литературным трудом. Он плохо представлял себе, как расплатится с многочисленными долгами. Но он твердо знал, что отныне будет принадлежать только самому себе — и никому более.

Быть может, он заставил бы себя обождать до тех пор, пока окончит роман, но в середине лета прошел слух, что нескольких инженеров начальство намерено командировать в отдаленные места — не то за Урал, не то в Севастополь — для строительства крепостей. Он не стал больше медлить и в половине августа подал прошение об отставке. Его не удерживали: потеря невелика.

«Его императорское величество в присутствии своея в Гатчине, октября 19 дня 1844 года соизволил отдать следующий приказ:

...«По Инженерному корпусу

Увольняются от службы:

Полевой инженер подпоручик *Достоевский* поручиком.

Подписал: военный министр генерал-адъютант князь *Чернышев».*

Только тогда, когда дело было сделано, он написал Михаилу: «...Клянусь тебе, не мог служить более. Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром. Дело в том, что я, наконец, никогда не хотел служить долго, следовательно, зачем терять хорошие годы?» И тут только впервые признавался: «У меня есть надежда. Я кончаю *роман* в объеме Eogenie Crandet. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него».

На пути к полной свободе оставалось одно лишь препятствие — смертельно надоевшая, казавшаяся ему унизительной зависимость от московских родственников. Надо было покончить и с этим. После отставки на него неминуемо посыпались бы обвинения в том, что он, бездельник, хочет сесть на шею малолетним братьям и сестрам. И он написал Карепину — объявил, что бросает службу и желает отказаться от своей доли в доходах от имения за тысячу рублей наличными. Из них пятьсот просил прислать ему сразу, а остальные в рассрочку, хоть по десять рублей в месяц. Зная, что Карепин ему не доверяет (тот, верно, никому не доверял), он попросил Михаила за него поручиться: «Они думают, что я их обману. Поручись, душа моя, пожалуйста, за меня. Скажи именно так: *что ты готов всем поручиться за меня в том, что я не простру далее моих требований».*

Михаил поспешил заверить Карепина, что Федор не обманет. «...Я вам, как угодно, письменно, форменно ручаюсь, что этого никогда не будет». И прибавил, что считает предложение Федора черес-



Зимний день.
*Этюд П. Федотова. 40-е годы XIX в.*

чур даже выгодным для всех остальных членов семьи, — ведь пятьсот рублей, которые Федор хочет получить разом, это почти те деньги, что он обыкновенно получал в течение года.

Карепин и сам прекрасно понимал выгодность предложения шурина. Но как раз та легкость, с которой Федор за бесценок отдавал свою долю в доходах с имения, больше всего и взбесила опекуна. Он воспринял ее как личное оскорбление.

В свое время Карепин начинал мелким чиновником. И не привередничал, не задавался. Долгие годы добросовестно постигал науку послушания, угождения и прислуживания начальству — и достиг степеней. А потому был весьма доволен собой, полагая судьбу свою завидной, а свой жизненный путь образцом для подражания. И вдруг какой-то желторотый юнец, его с позволения сказать «братец», ни в грош не ставит то самое благополучие, которое Карепин считал идеалом. Этот

самый «братец» и раньше не отличался благоразумием, скромностью, а теперь совсем задурил. Вздумал, видите ли, пренебречь офицерским чином, службой, обречь себя на нищенство и все ради каких-то туманных мечтаний!

Нет, он — Петр Андреевич Карепин — не собирается потакать сумасброду. Никаких денег он в Петербург не пошлет. А отправит наставление. Вразумляющее, увещевающее.

«Если вам доступен еще совет родства и дружбы, то послушайтесь, любезный брат! — наставлял он Федора. — Оставьте излишнюю мечтательность и обратитесь к реальному добру, которого бог весть почему избегаете; примитесь за службу с тем убеждением, которому, поверьте по опыту, что сколь бы ни велики были наши способности, все нужно еще при них некоторое покорство общественному мнению, особенно мнению старших, они больше и дольше нашего прожили, больше нашего видели и испытали. Не только нет вам благословения сердечного (если вы когда-нибудь поставите оное в цену) выходить из службы, но даже убеждаю вас самих искать командировки — чем дальше, тем лучше, вы там поверите жизнь человеческую с различных ее фазов, тогда как теперь — знакомы только односторонне со школьной лавки да книжных мечтаний».

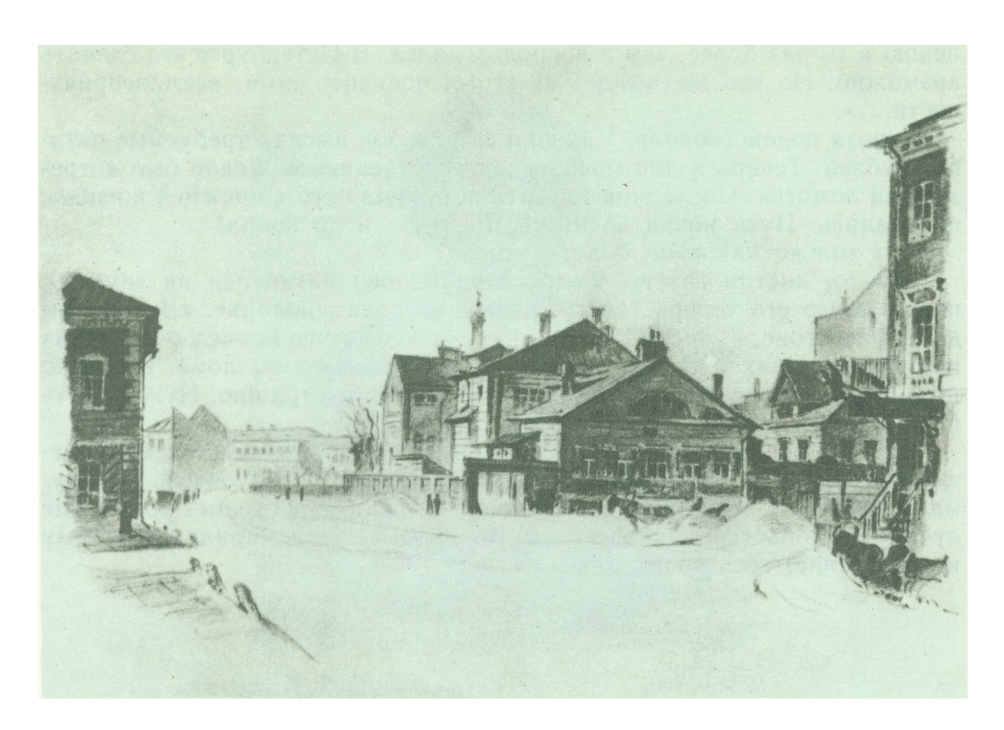
Карепинское красноречие действия не возымело.

«Неужели вы, Петр Андреевич, — отвечал ему Федор, — после всего, что было между нами на счет известного пункта, то есть дирижирования моей неопытной и заблуждающейся юности, после всего, что было писано и говорено с моей стороны, после (не спорю — и сознаюсь) после нескольких дерзких выходок с моей стороны на счет советов, правил, принуждений, лишений и т. п., вы захотите еще употребить ту власть, которая вам не дана, действовать в силу тех побуждений, которые могут управлять только решением одних родителей, наконец, играть со мною роль, которую я в первую минуту досады присудил вам неприличною. Неужели и после этого всего вы будете противиться моим намереньям ради моей собственной пользы и из сострадания к жалким грезам и фантазиям заблуждающейся юности?..»

Столь решительного афронта Карепин не ожидал. Он смертельно обиделся, замолчал. Денег, разумеется, не выслал.

Как всегда в трудную минуту, Федор искал поддержки у Михаила. «...Что я ни сделаю из своей судьбы — какое кому дело? Я даже считаю благородным этот риск, этот неблагоразумный риск перемены состояния, риск целой жизни — на шаткую надежду. Может быть, я ошибаюсь?.. Пусть говорят, что хотят, пусть подождут. Я пойду по трудной дороге!..»

Михаил, как мог, пытался уладить ссору. Он даже соглашался



На городской окраине.
*Акварель Ф. Баганца. Середина XIX в.*

с Карепиным, что брату Федору для собственного блага следовало, быть может, действовать иначе — осторожнее, рассудительнее. Конечно, многим его поступки покажутся легкомысленными. Но что касается его, Михаила, то сам он видит в поведении Федора верный признак сильной души и энергического характера. Он верит в призвание Федора, в его необыкновенный талант и не сомневается, что рано или поздно Федора ждет успех, слава, пожалуй, и богатство. А пока... Пока он просил Карепина не сердиться на резкие выходки в письмах брата, объясняя их раздражительностью и болезненным состоянием.

Но Карепин уперся. Федор отправил ему еще письмо — молчание. Написал опять — молчание. Тогда он решился на последнее средство: либо Карепин соглашается на предложенные ранее скромные условия, либо его, Федора, часть имения будет продана в чужие руки. «... В самом отчаянном случае я, может быть, решусь нажить себе еще кредиторов и уступить им все, в силу заемных писем и некоторых обязательств

ценою в 10 раз более, чем я воспользовался. В Петербурге это сделать возможно. Но что же выйдет из этого, посудите сами: всем неприятности...»

Угроза подействовала. Карепин сдался. Он выслал требуемые пятьсот рублей. Теперь и для московских родственников Федор был «отрезанный ломоть». Последняя нить, связывавшая его с прежней жизнью, прервалась. Пути назад не было. Вперед — и до конца!

Вот только каков он будет — конец?..

Как-то, листая газету, Федор Михайлович наткнулся на заметку, поразившую его теперь точно грозное предзнаменование. «В Инвалиде, в фельетоне, — писал он Михаилу, — только что прочел о немецких поэтах, умерших с голоду, холоду и в сумасшедшем доме. Их было штук 20: и какие имена! Мне до сих пор как-то страшно. Нужно быть шарлатаном...»

Но нет, что бы там ни случилось, он в своем служении искусству останется честен!.. Он перечитал роман, уже почти оконченный. И надумал переписать все наново — от начала до конца: он сделает роман еще лучше, он добьется совершенства. Во всяком случае, приложит к тому все старание, весь свой талант.

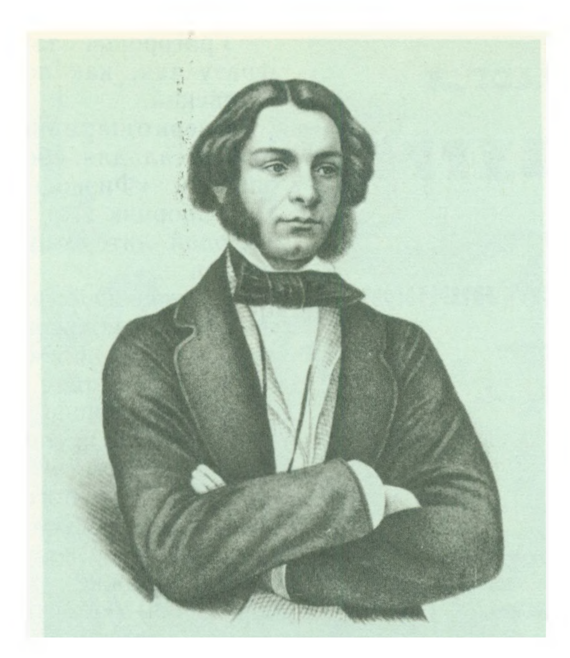
## «А не пристрою романа...»

На переделку романа ушли ноябрь, декабрь, январь. В феврале 1845 года Достоевский опять переписал все набело, перечитал... и снова начал править, менять, вставлять и вычеркивать. Предоставленный теперь самому себе, он писал с утра до вечера, иногда просиживал за столом и часть ночи. Когда рука немела от писания, бросал перо и брал книгу. Давно читанные, любимые книги он теперь перечитывал другими глазами. «Я страшно читаю и чтение страшно действует на меня... Как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю и сам извлекаю умение создавать».

Изредка отправлялся он побродить по городу, поддаваясь на уговоры своего теперешнего соседа по квартире — Мити Григоровича.

Как-то в начале прошлой осени они столкнулись на улице. Не виделись давно. С радостными восклицаниями бросился Григорович к опешившему приятелю, затормошил, забросал вопросами и, не дожидаясь ответов, принялся рассказывать о себе.

Недавно он ненароком познакомился с директором императорских театров. Тот записал его в свою канцелярию. Обязанности театрального чиновника оказались не головоломны: переписывать красивым по-



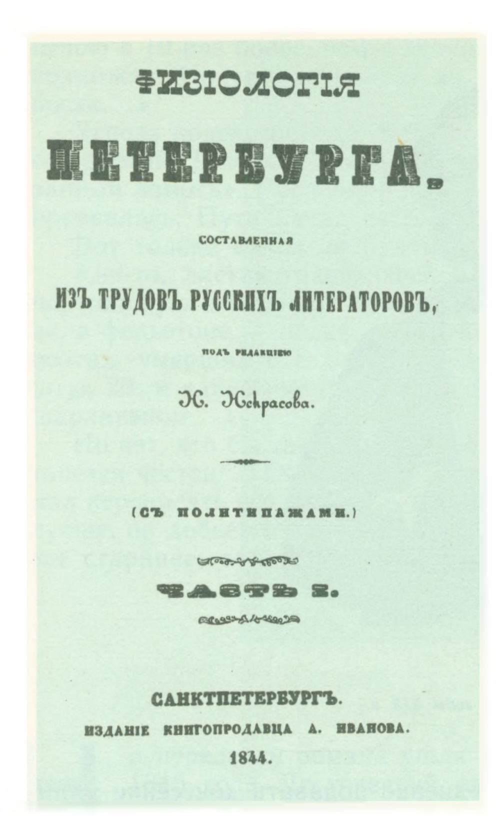
Д. В. Григорович.
*Литография П. Иванова. 40-е годы XIX в.*

черком недельный репертуар да ежедневно подавать донесение министру двора: «Резервуар Большого театра наполнен водой», а зимою еще добавлять: «и она не замерзла». Предосторожность на случай пожара. Но чиновничья служба не увлекала Григоровича. На досуге он попробовал переводить для театра французские пьесы, потом принялся за переводы повестей и сам начал сочинять.

— Сейчас написал статейку о петербургских шарманщиках, хочешь ли послушать?

Он потащил Достоевского к себе и, усадив, с ходу принялся читать подробное описание внешности и образа жизни бродячего владельца музыкального ящика. Достоевский выслушал очерк, одобрил. Сделал только одно замечание. Говоря о досужих обывателях, что выглядывают из окон при звуках шарманки, рассказчик упомянул и жалкую награду, что порою падает к ногам шарманщика, — медный пятачок.

— Не то, не то, — досадливо прервал Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая.



ФИЗIОЛОГIЯ

ПЕТЕРБУРГА,

СОСТАВЛЕННАЯ

ИЗЪ ТРУДОВЪ РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ,

ПОДЪ РЕДАКЦIЕЮ

Н. Некрасова.

(СЪ ПОЛИТИПАЖАМИ.)

ЧАСТЬ I.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНIЕ КНИГОПРОДАВЦА А. ИВАНОВА.

1844.

**Альманах «Физиология Петербурга».**
***Титульный лист первой части. 1844 г.***

Григорович тотчас поправил фразу так, как посоветовал Достоевский.

Очерк о шарманщиках Григорович писал для сборника под названием «Физиология Петербурга». Сборник этот задумал издать молодой литератор Николай Некрасов.

Достоевский услышал это имя впервые несколько лет назад, еще в училище. Однажды, когда воспитанники гуляли в зале, вошел дежурный офицер, держа в руках пачку тоненьких книжечек, и предложил их покупать. Книжечки — сочинения молодого поэта, находящегося в стесненных обстоятельствах. Офицер поэта знал. На розовой обложке стояло название сборничка — «Мечты и звуки». Имя автора заменяли две буквы — «Н. Н.» Они обозначали — Николай Некрасов. Неугомонный Григорович захотел познакомиться с Некрасовым — какой никакой, а поэт. И познакомился. И похвастался Федору. Тот слушал равнодушно. «Мечты и звуки» ему совсем не понравились.

А тут как-то недавно на бегах Григорович случайно столкнулся с Некрасовым. Знакомство возобновилось.

Некрасов, сочинявший теперь водевили, рассказы и по-прежнему стихи, стал еще и издателем.

Узнав, что Григорович тоже пишет, он пригласил его участвовать в своих предприятиях.

Сборник «Физиология Петербурга» должен был объединить произведения, выставлявшие перед публикой такие всем знакомые и вместе такие неприметные петербургские типы, как дворник, бедняк — житель углов, шарманщик, чиновник, петербургский фельетонист.

Григорович уговаривал Достоевского тоже писать для Некрасова. Федор Михайлович, прощаясь, обещал подумать.



Иллюстрация к очерку Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики» из альманаха «Физиология Петербурга».
*Гравюра по рисунку Е. Ковригина 1844 г.*

После этой встречи они стали часто видеться. Достоевский предложил Григоровичу поселиться вместе. Комната Ризенкампфа теперь пустовала — молодой врач уехал из Петербурга на службу в Сибирь.

Для домоседа, каким заделался теперь Достоевский, такой беззаботный, остроумный, никогда не унывающий сосед, как Григорович, был сущим кладом.

Пожитки Григоровича уместились на одной подводе. Приятели распределили обязанности — по очереди бегали в лавочку за припасами, по очереди ставили самовар. Когда в карманах оставались одни медные деньги — а это случалось нередко, — вместо обеда довольствовались ячменным кофием с булками.

Федор Михайлович, по-прежнему проводивший целые дни за письменным столом, похудел, осунулся. Он изнурял себя работой. Но иногда Григоровичу все-таки удавалось вытащить его на прогулку.

Как-то раз во время прогулки от переутомления Федору Михайловичу сделалось дурно. Он упал на тротуар и потерял сознание. Григорович с помощью прохожих перенес его в ближайшую мелочную лавочку и там всякими способами долго приводил в чувство.

Видя на столе у Достоевского множество листов, исписанных его необыкновенно мелким и четким почерком — каждая буковка точно нарисованная, Григорович стал было выспрашивать, что это за сочинение. Но Достоевский отмалчивался или отвечал неопределенно. Только одному человеку рассказывал он без утайки о своих занятиях — брату Михаилу. «Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки».

Еще раз переписав роман набело, он решился печатать его отдельной книгой, за свой счет. «Напечатать самому значит пробиться вперед грудью, и если вещь хорошая, то она не только не пропадет, но окупит меня от долговой кабалы и даст мне есть».

Он понес роман к цензору. Тот, однако, объявил, что завален работой и не прочтет рукопись прежде, чем через месяц. А печатанье съест еще недели три. Значит, книга выйдет только летом — а какие читатели летом? Достоевский забрал рукопись назад. «Я решился на отчаянный скачок: ждать, войти, пожалуй, опять в долги и к 1-му сентября, когда все переселятся в Петербург и будут как гончие собаки искать носом чего-нибудь новенького, тиснуть на последние крохи, которых может быть и не достанет, мой роман».

И снова он принялся за переделки. Правил, правил и снова правил. Исподволь завел разговор с Григоровичем насчет того, что писателям следовало бы издавать книги самим, а не идти в кабалу к торгашу, но Григорович только руками замахал:

— Помилуй, как самому издавать? Положим, книга твоя будет хороша, даже очень хороша, да ты ведь не купец! Как ты станешь публиковать о ней? В газетах, что ли? Нужно непременно иметь на своей руке книгопродавца. А книгопродавец себе на уме. Когда ты явишься к нему со своим напечатанным товаром, он уж, конечно, поймет, что может тебя прижать. И прижмет, алтынная душа, непременно прижмет! И ты сядешь в болото... Нет, никак невозможно!..

— А вот, к примеру, Некрасов...

— Как же равняться с Некрасовым? Он в этих делах дока, его уже все знают... Да ведь и он сколько мытарств претерпел, прежде чем вошел в силу! Нет, брат, на Некрасова нечего смотреть.

Поразмыслив, Достоевский согласился с Григоровичем. «Я до сей самой поры был чертовски занят. Этот мой роман, от которого я никак

не могу отвязаться, задал мне такой работы, что если бы знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переправлять, и ей-богу к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрагиваться... Мне говорят толковые люди, что я пропаду, если напечатаю мой роман отдельно... Я решил обратиться к журналам и отдать мой роман, за бесценок — разумеется, в «Отечественные записки»... Напечатай я там — моя будущность литературная, жизнь — все обеспечено. Я вышел в люди. Мне в «Отечественные записки» всегда доступ, я всегда с деньгами... А не пристрою романа, так может быть и в Неву. Что же делать! Я уж думал обо всем! Я не переживу смерти моей idee fixe!»

Более всего занимало его теперь: что скажет главный критик «Отечественных записок» Белинский. Порою молодому писателю с очевидностью представлялось, что строгий ценитель талантов на чем свет стоит разбранит и жестоко высмеет его несчастный роман. Но так думалось только по временам: неужто вся та страсть, вся та горечь, вся та любовь, что пережил он с пером в руке над своим романом, — все это только ложь, мираж, неверное чувство?.. Нет, не может быть!.. «Бедные люди» — ведь не без достоинства. Есть, конечно, большие недостатки. И если разбирать именно недостатки... Если взглянуть строго...

Мучительные сомнения снова возвращались. Одно лишь знал он наверняка: ближайшие недели, быть может, даже дни, навсегда решат его судьбу.

## Ночной визит

Стоял теплый погожий май 1845 года.

Как-то утром, после завтрака, Достоевский позвал Григоровича к себе. Отворив дверь, Григорович увидел соседа сидящим на диване, который служил ему также и постелью, а на маленьком письменном столе перед диваном — толстую тетрадь большого формата с загнутыми полями и мелко исписанную.

— Садись-ка, Григорович, — с заметным волнением проговорил Достоевский и указал на стул, — вот вчера только переписал, хочу прочесть тебе. Садись, не перебивай!

Григорович послушно опустился на стул. Достоевский раскрыл тетрадь и начал. Голос его звучал тихо и хрипловато:

— «Бесценная моя Варвара Алексеевна! Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив! Вы хоть раз в жизни, упрямица,



Невский проспект.
*Литография. 30-е годы XIX в.*

меня послушались. Вечером, часов в восемь просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочек-другой люблю поспать после должности), свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза, — право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы-таки поняли, чего мне хотелось, чего сердчишку моему хотелось! Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином, точнехонько так, как я вам тогда намекал; тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали».

Чем дальше читал Достоевский, тем беспокойнее вертелся Григорович на стуле. С первых же страниц он понял, насколько повесть Достоевского была выше его собственных робких литературных попыток. Вскоре он был почти убежден, что ему выпала честь первому услышать произведение, которое станет знаменито в русской литературе. Не

в силах сдерживать свое восхищение, Григорович то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями. Если бы он не знал нелюбви Достоевского к шумным и бурным излияниям чувств, то давно кинулся бы обнимать его...

Чтение кончилось. Григорович заявил, что необходимо тотчас же отдать рукопись Некрасову, который после блестящего успеха «Физиологии Петербурга» задумал издать еще сборник. Достоевский было заикнулся — не показать ли роман в журнал «Отечественные записки», но Григорович и слушать не стал.

— Зачем? У Некрасова участвуют те же писатели, что и в журнале. Белинский? Он тоже дает Некрасову статью в сборник!

Чуть не силой отобрав у Достоевского тетрадь, Григорович убежал.

Восторг приятеля, конечно, порадовал Федора Михайловича. Но думалось: Григорович по-дружески снисходителен к нему. Да и вообще воспламеняется как порох от малой искры — можно ли ему верить? Что скажет Некрасов, что скажут другие? Но это выяснится лишь через неделю-две, а то и через месяц. Делать нечего — оставалось запастись терпением и ждать.

Возбужденный чтением романа, разговором с Григоровичем, Достоевский не мог оставаться один. Он вышел на улицу и отправился бесцельно бродить по шумному, оживленному весеннему городу. Гуляя, забрел к знакомому, жившему на другом конце Петербурга. Там он засиделся. Говорили по обыкновению о литературе, вспомнили Гоголя, принялись — в который раз! — читать вслух «Мертвые души». И не заметили, как пролетела ночь.

Домой Достоевский вернулся под утро. Тихо, чтобы не разбудить Григоровича, прошел к себе. Спать не хотелось. Растворил окно и сел подле него.

Белая ночь завораживала. Дома, фонари, булыжник мостовой, высоченная колокольня Владимирской церкви — все как-то до странности явственно вырисовывалось в прозрачном сумраке и, несмотря на привычность, приобретало какой-то фантастический вид.

Он сидел у окна и думал. Думал о только что оконченном романе, о другом, который начнет.

Тишина была такая, что звенело в ушах. И вдруг резкий звук полоснул тишину. Задребезжал, задергался дверной колокольчик. Дзинь! Дзинь! Дзинь! Удивленный, встревоженный, Достоевский кинулся отворять.

На пороге стояли Григорович и еще какой-то молодой человек с длинными волосами. Сам не зная почему, Федор Михайлович почувствовал, что молодой незнакомец — Некрасов. Некрасов схватил его за руки, с силой тряс их, горячо поздравляя со слезами на глазах. Григорович ему вторил.



«Бедной девушке краса — смертная коса».
*Этюд П. Федотова к его картине. 1848 г*

Оказалось, что Григорович разыскал где-то Некрасова. Они вместе провели вечер. Потом пошли к Некрасову, и Григорович предложил почитать принесенную им рукопись.

— Начнем, — настаивал Григорович, — с десяти страниц будет видно.

Он развернул тетрадь и начал. Прочел десять страниц, двадцать, тридцать — Некрасов не прерывал. Ночь опустилась на город, они все читали. Когда один уставал, его сменял другой.

— Читает он про смерть студента, — рассказывал после Григорович, — и вдруг я вижу: в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его! ..» И этак мы всю ночь.

Конец романа читал Григорович. На последней странице, когда старый Макар Девушкин прощается со своей любимой Варенькой, Григорович начал всхлипывать. Он украдкой взглянул на Некрасова — у того по лицу тоже текли слезы.



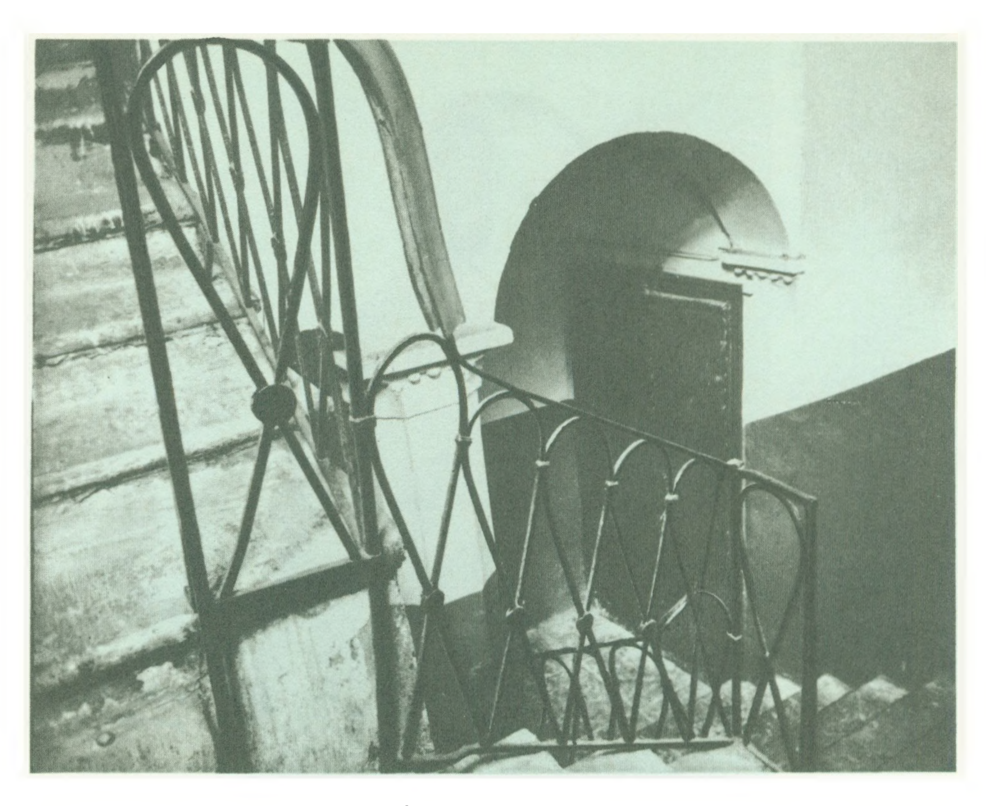
Н. А. Некрасов.
*Акварель И. Захарова. 1843 г.*

Несмотря на ночное время, Григорович стал убеждать Некрасова не откладывать доброго дела и тотчас пойти к Достоевскому — рассказать, какое действие производит его роман, и сразу условиться, что «Бедные люди» появятся в «Петербургском сборнике».

— Да он спит теперь, — пытался возражать Некрасов.

— Что ж такое, что спит, — настаивал Григорович, — мы разбудим его, это выше сна!

Некрасов, и сам, взбудораженный необыкновенной повестью, согласился.



Старая лестница в доме 11 по Владимирскому проспекту,
где жил Достоевский.
*Фотография.*

«Должен признаться, — писал через много лет Григорович, — я поступил в настоящем случае очень необдуманно. Зная хорошо характер моего сожителя, его нелюдимость, болезненную впечатлительность, замкнутость, мне следовало бы рассказать ему о случившемся на другой день, но сдержанно, а не будить его, не тревожить неожиданной радостью и, вдобавок, не приводить к нему чуть ли не ночью незнакомого человека; но я сам был тогда в возбужденном состоянии, в такие минуты здраво рассуждают более спокойные люди».

Они проговорили с полчаса. Говорили волнуясь, с восклицаниями, с полуслова понимая друг друга и торопясь раскрыть друг другу душу. Говорили о поэзии, о правде, о положении в России, говорили о Гоголе,




Мемориальная доска на доме, где были написаны «Бедные люди».
*Фотография.*

повторяя из «Ревизора» и «Мертвых душ» наизусть. Говорили, конечно, и о Белинском.

— Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! — глядя в глаза Достоевскому и тряся его за плечи, говорил Некрасов. — Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа! .. Ну, теперь спите, спите, а завтра к нам!

Некрасов ушел. Григорович лег спать. Достоевскому же было совсем не до сна.

Григорович, лежа на своем диване, еще долго слышал его взволнованные шаги. Федор был рад несказанно.

«Какой успех! — думал он в упоении, меряя шагами комнату. — И главное, что дорого: у иного успех, ну, хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа утра, разбудить, потому что это выше сна... Ах, хорошо! ..»

Серебристая, таинственная петербургская белая ночь незаметно переходила в солнечное майское утро. Сгустившиеся тени возвращали предметам их обычные очертания, и вместе с дневным светом в сердце молодого писателя вновь зашевелились сомнения, и к недавней радостной уверенности зачем-то вновь примешивались тревожные мысли.

## «Самая восхитительная минута во всей моей жизни»

Этим же утром Некрасов уже был у Белинского.

— Новый Гоголь явился! — с порога воскликнул он и протянул Белинскому рукопись «Бедных людей».

— У вас Гоголи-то как грибы растут, — строго заметил критик.

— Прочтите, — в увлечении настаивал Некрасов. — Сами то же скажете.

— Я теперь очень занят. — И Белинский равнодушно отодвинул рукопись.

— Да вы только начните! — убеждал Некрасов теми же словами, какими вчера убеждал его самого Григорович. — Только начните — не оторветесь.

— Полноте! Я уже не в тех летах. Для меня нет теперь книги, от которой я не мог бы оторваться для чего угодно — хоть для пустого разговора.

Белинский был человеком страстным, увлекающимся. В своих пристрастиях к людям, идеям, книгам он не знал середины и порою, увлекшись до самозабвения, потом должен был с сердечным сокрушением и раскаянием сознаваться в своей ошибке. И быть может, не было в его жизни ничего горше и мучительнее этих минут разочарования. Не в силах изменить свою натуру, Белинский старался, по крайней мере, показать друзьям, что с годами он стал осторожнее и, наученный горьким опытом, смотрит на вещи спокойнее и трезвее.

— Я еще зайду, — пообещал, уходя, Некрасов.

— Вечером? Хорошо, заходите.

— И вы мне скажете ваше мнение.

— Да неужто вы думаете, что я вот так брошу все и примусь читать.

— Но ведь отличная повесть. Прочтите сегодня.

— Нет, сегодня никак не могу.

— Когда же?

— Да вот... прочту как-нибудь...

После ухода Некрасова Белинский не удержался и заглянул в принесенную рукопись. Он прочел страницу, другую. Отложил тетрадь и прошелся по комнате. Потом позвал слугу, приказал ему никого не принимать, улегся на диван и принялся читать дальше.

Около восьми часов вечера Некрасов снова был у Белинского. Услыхав звонок, Белинский выбежал в прихожую. Лицо его выражало досаду и нетерпение.



В. Г. Белинский.
*Рисунок К. Горбунова. 1843 г.*

— Где вы пропадали? Я вас жду, жду; думал уж посылать к вам. Что автор — молодой человек?

Увидев в руках Белинского знакомую тетрадь, Некрасов понял, о ком идет речь.

— Молодой.

— А как?

— Ему, я думаю, лет двадцать или двадцать четыре.

— Слава богу! — в восторге воскликнул Белинский и перевел дух, точно у него камень с души свалился. — Этот вопрос меня очень занимал. Я просто измучился, дожидаясь вас. Так ему только двадцать четыре года?

— Никак не более двадцати пяти.

— Ну, так он гениальный человек! — торжественно произнес Белинский.

— Я вам говорил! — обрадовался Некрасов.

— Вы говорили? Что вы говорили! Можно ли так говорить о подобной вещи! Пришел, оставил рукопись, повернулся и пропал!.. Превосходная вещь... Мало ли что мы называем превосходной вещью!

И, не в силах сдерживать своего восторга, Белинский тут же стал делиться с Некрасовым своим впечатлением от романа Достоевского.

— Главное, что поражает в нем, — это удивительное мастерство живьем ставить лицо перед глазами читателя, очеркнув его только двумя-тремя словами, но такими, что если бы иной писатель исписал десять страниц, то и тогда лицо это не выступило бы так резко и рельефно. И потом, какое глубокое, теплое сочувствие к страданию. Скажите, что он, — должно быть, бедный человек и сам много страдал?

Некрасов рассказал все, что успел узнать о Достоевском от Григоровича и что заметил сам насчет характера и образа жизни молодого писателя.

— Всего более радует, — не уставал повторять Белинский, — что ему только двадцать пять лет. Если бы он был человеком уже зрелого возраста, тогда, всего вероятнее, что из него ничего более не вышло бы. Тогда на «Бедных людей» можно было бы смотреть как на результат целой и лучшей половины жизни умного и наблюдательного человека, много пережившего и перечувствовавшего. Но написать такую вещь в двадцать пять лет может только гений!..

Белинский говорил и о недостатках «Бедных людей». Он находил в них некоторую растянутость, многословие, неуместное повторение одних и тех же слов, обличающее некоторую манерность. Но все это, по мнению его, было следствием молодости и неопытности автора — той самой молодости, от которой он ждал столь многого для русской литературы.

Прощаясь с Некрасовым, Белинский потребовал, чтобы тот на следующий же день непременно привел к нему Достоевского.

По дороге домой — как ни поздно было — Некрасов забежал на Владимирскую и передал автору «Бедных людей» свой разговор с Белинским. Хотя и накануне Некрасов видел радостное выражение в лице Достоевского, но что была та радость перед счастием, озарившим теперь его лицо. Слабым, неровным, дрожащим от волнения голосом переспрашивал Достоевский: так ли точно сказал Виссарион Григорьевич? — и повторял его отзывы, стараясь вникнуть в них поглубже, взвесить значение каждого слова. Разумеется, тут же уговорились, что завтра поутру вместе отправятся к Белинскому.

Когда на следующее утро литератор Анненков, приятель Белинско-



Дом на Невском проспекте, 68, угол набережной реки Фонтанки, где в 1842—1846 годах жил В. Г. Белинский.
*Фотография*

го, вошел во двор дома, где жил Виссарион Григорьевич, то увидал его у раскрытого окна с большой тетрадью в руках. Заметив Анненкова, Белинский закричал ему:

— Идите скорее, сообщу новость!

И, едва поздоровавшись с приятелем, стал рассказывать:

— Вот от этой самой рукописи, которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли, еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального

романа и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть, не подозревая и сами, что у них выходит. Дело тут простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и все, — а какая драма, какие типы! Да, я и забыл вам сказать, что художника зовут Достоевским, а образцы его мотивов представлю сейчас...

И Белинский, волнуясь, стал читать вслух наиболее поразившие его страницы романа.

Между тем Некрасов, удивленный и растерянный, стоял перед Достоевским. Хотя назначенный час уже прошел, автор «Бедных людей», побледневший и осунувшийся за ночь, сидел на постели в халате и, казалось, никуда не собирался идти.

— Как? Что такое? Отчего? — изумился Некрасов.

— Да я так думаю, — неуверенно говорил Достоевский, — вот он вчера расхвалил, а теперь, может быть, поохладел и уже совсем иначе думает...

— Федор Михайлович! Какое ребячество! Белинский не такой человек, да и «Бедные люди» не такая вещь, чтобы так скоро разочароваться!

Некрасов горячо убеждал, настаивал, просил. Наконец Достоевский пересилил себя — и они пошли.

Дом, где жил Белинский, стоял на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. Вошли во двор, поднялись по темной лестнице на третий этаж. Достоевский не помнил, как оказался в кабинете Белинского.

«Этого грозного, этого страшного» Белинского он мысленно рисовал себе фигурой властной, величественной, крупной и был поражен, увидав перед собой невысокого, худощавого, сутулого человека с белокурыми волосами, спадавшими на лоб, с чертами лица неправильными и на первый взгляд даже невзрачными.

Хозяин встретил гостей серьезно, сдержанно, даже с некоторой, как показалось Достоевскому, важностью.

«...Но не прошло, кажется, и минуты, — вспоминал потом Достоевский, — как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать».

Белинский заговорил возбужденно, до того прикрытые опущенными ресницами его большие прекрасные серые глаза точно заискрились.

— Да вы понимаете ль сами-то, — повторил он несколько раз, вскри-



Ф. М. Достоевский.
*Рисунок К. Трутовского. 1847 г.*

кивая, по своему обыкновению, от сильного волнения, — вы понимаете ль сами-то, что это вы такое написали! Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности, и почти за вольнодумство считает признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей, — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки — да ведь тут уж не сожаление



Невский проспект у Аничкова моста.
*Литография с рисунка И. Шарлеманя. Середина XIX в.*

к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художники, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар. Цените же ваш дар и оставайтесь верным ему и будете великим писателем!..

Они разговаривали долго. Белинский расспрашивал о том, как работал Достоевский над «Бедными людьми». Потом стал показывать гостям собранные им автографы знаменитых русских писателей. Прощаясь, Белинский просил Достоевского заходить к нему почаще и запросто, без церемоний.

«Я вышел от него в упоении, — рассказывал Достоевский. — Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик», — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду «верен»! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о, к ним, с ними!» Я это все думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни».

## «Двойник»

Лето 1845 года Достоевский проводил у брата в Ревеле. Как и год назад, бродили они вдвоем по узким ревельским улочкам. Михаил Михайлович все так же жаловался на скудность жалованья, скуку провинциальной жизни, читал свои стихи и отрывки из перевода Шиллерова «Дона Карлоса». И здесь, в сонном и неизменном Ревеле, Достоевский еще отчетливее ощущал, как разительно переменилась в короткое время собственная его судьба. Он точно поднялся на огромную высоту, точно смотрел теперь на мир откуда-то сверху — еще вчера никому неведомый офицеришка, каких тысячи, а теперь в глазах умнейших и просвещеннейших людей России -- гордость и надежда отечественной литературы.

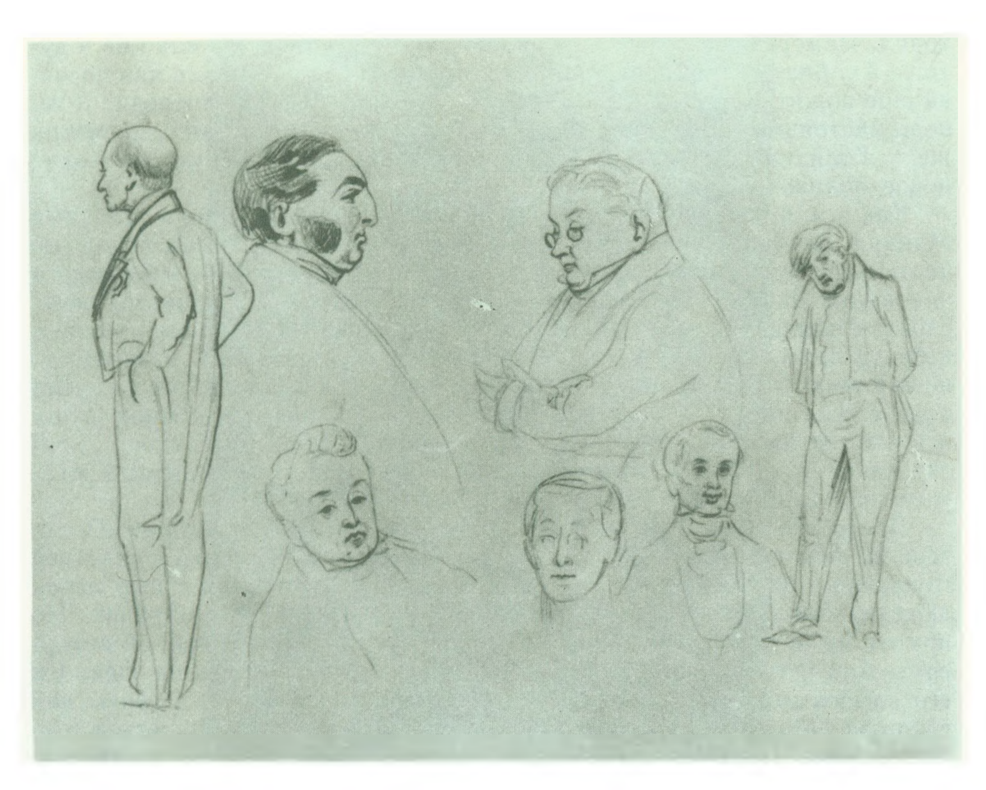
Он привез брату на прочтение рукопись «Бедных людей». Не уставая, пересказывал свои недавние беседы с Белинским, с которым в несколько недель сблизился и сдружился. Рассказывал и о новом своем романе, который только что начал — «Двойник, или Приключения господина Голядкина». Обещал, что новый роман будет еще лучше и, во всяком случае, куда оригинальнее «Бедных людей».

Михаил Михайлович гордился братом, глядел на него радостно и



Начальник и подчиненные.
*Рисунок П. Федотова. 40-е годы XIX в.*

восхищенно. Он-то всегда знал, что Федор человек необыкновенный, он всегда верил в него и не только пятьюстами карепинскими рублями, но головою готов был поручиться, что Федор станет большим, знаменитым писателем. Михаил и сам, быть может, не подозревал, как всегдашняя эта его вера и всегдашнее стремление понять брата, разделить его мысли и облегчить его горести укрепляли и поддерживали Федора в трудные времена. Рядом с Михаилом Федор никогда не ощущал той страшной тоски, той заброшенности и сиротливости, что порою отравляли петербургскую его жизнь. И теперь, вступив на новую дорогу, еще неизведанную и, конечно же — он прекрасно понимал это, — ох, какую нелегкую, Федор при встрече с братом, и потом, при расставании с ним, испытывал чувства особенно нежные и тревожные.



Петербургские типы.
*Рисунки П. Федотова. 40-е годы XIX в.*

«Драгоценнейший друг мой! .. — писал он Михаилу на другой же день по возвращении в столицу. — Привыкнув с вами и сжившись так, как будто бы я целый век уже вековал в Ревеле, мне Петербург и будущая жизнь петербургская показались такими страшными, безлюдными, безотрадными, и необходимость такою суровою, что если б моя жизнь прекратилась в эту минуту, то я, кажется, с радостию бы умер. Я, право, не преувеличиваю... Сегодня, проснувшись в восемь часов, я увидел перед собой моего человека. Порасспросил его. Все как было; по-старому. Квартира моя слегка подновлена. Григоровича и Некрасова нет еще в Петербурге, а известно лишь по слухам, что они явятся разве-разве к 15-му сентября, да и то сомнительно... Я отправился *по делам* и ровно ничего не сделал. Познакомился с журналами, поел кое-что, купил бумаги и перьев — да и кончено. К Белинскому не

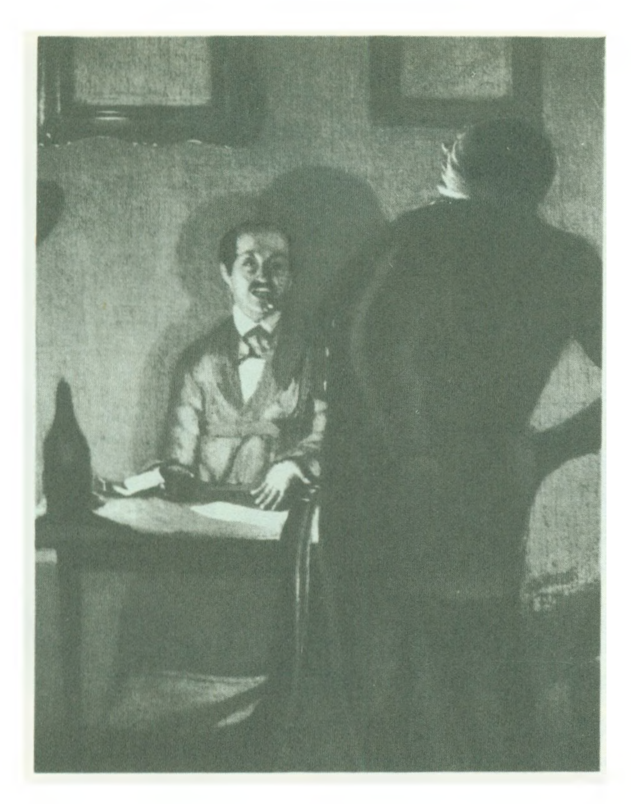
ходил. Намереваюсь завтра отправиться, а сегодня я странно не в духе... Ах, брат, ты не поверишь, как бы я желал теперь хоть два часочка еще пожить вместе с вами. Что-то будет, что-то будет впереди? Я теперь настоящий Голядкин, которым я, между прочим, займусь завтра же... Голядкин выиграл от моего сплина. Родились две мысли и одно новое положение...»

Как всю прошлую зиму и весну он жил только печалями и заботами Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой, так теперь изрядную часть собственного его существования составляли страдания безумного чиновника Якова Петровича Голядкина. Прозвание его произвел он от слова «голядка» — что значит «голь», «бедняк». И в одном из писем к брату прямо назвал своего «Двойника» исповедью. Нет, разумеется, не впрямую, а в форме иронической и причудливой, но и здесь он писал о себе. Он писал о том сокровенном, что таится в глубинах души всякого бедняка, — о мучительной робости, подозрительности, болезненной гордости, ежеминутно уязвляемой действительными и мнимыми обидами.

О, его господин Голядкин был горд, весьма и весьма горд! «Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалую; клеветою и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно», — так говорил Яков Петрович Голядкин. Но притом он никого, решительно никого не задевал. Напротив, он всегда готов был уступить, он даже рад уступить — только чтобы не очень уж его самого-то прижимали, чтобы уж не совсем затирали в грязь, как поганую ветошку. А то ведь и он может обидеться — обидеться и... промолчать. Потому как нет у него другой защиты, кроме смирения. «Как увидят, что я ничего не протестую и совершенно смиряюсь, с смирением переношу, так и отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся». Он терпит, он сносит. Прощает все обиды. Держится до той самой минуты, пока толчками в спину выпроваживают его из дома Олсуфия Ивановича Берендеева... Тут уж он решительно не в силах терпеть. Тут уж он готов отвечать ударом на удар, готов пустить в ход интригу, со своей стороны вести подкоп и надеть маску. Да только поздно! Судьба господина Голядкина уже решена. «Дело сделано, конечно, решение скреплено и подписано...»

В одном из тихих петербургских закоулков, в самой что ни на есть обыкновенной чиновничьей прихожей случилось ничтожное и, на первый взгляд, даже забавное происшествие. А в душе бедняка разыгралась трагедия — да еще какая!..

Ненастной ноябрьской ночью бежит по пустынным столичным улицам господин Голядкин. С позором изгнанный из дома статского советника Олсуфия Ивановича Берендеева, потрясенный и убитый, не чуя под собою ног, бежит Яков Петрович от Измайловского моста к себе,



Игроки.
*Картина П. Федотова. Фрагмент. Середина XIX в.*

в Шестилавочную улицу. Вооруженная ветром, дождем и мокрым снегом жестокая ночная непогода точно бы старается довершить дело врагов господина Голядкина, пронимая его до костей, залепляя ему глаза, продувая со всех сторон и сбивая с пути и с последнего толка... Человек самый обыкновенный, человек как и все, человек не хуже других, Голядкин вздумал было искать руки Клары Олсуфьевны, дочери статского советника Олсуфия Ивановича Берендеева. Увы, Голядкину предпочли некоего счастливого юношу — столько же делового, сколько и благонравного, который к тому же доводился племянником Андрею Филипповичу, начальнику отделения в том самом департаменте, где служил Голядкин. Яков Петрович не хотел сразу сдаться, Яков Петрович вздумал хоть тут-то, хоть раз в жизни постоять за себя! Что же?



Невский проспект в вечерние часы.
*Литография с рисунка И. Шарлеманя. Середина XIX в.*

Его попросту и весьма неблагородно спустили с лестницы. И вот, гонимый стыдом и отчаянием, поспешая вдоль пустынных улиц, безмолвие которых нарушал лишь вой ветра, тоненький скрип фонарей да журчание и хлестание воды, стекавшей с крыш, крылечек, желобов и карнизов, в сумятице и мелькании ноябрьской вьюги и хмари Голядкин видит внезапно — кого бы вы думали? — самого себя! Самого господина Голядкина, совершенного своего двойника!.. Мутится бедный ум его, раздваивается сознание. Темные силы собственной души воплощаются для Голядкина в фигуре двойника. И вот этот-то второй господин Голядкин, господин Голядкин-младший в больном воображении Голядкина-старшего точно бы в самой действительности принимается отчаянно интриговать, изворачиваться, подличать, вести подкоп и надевать маску. Он мучает, теснит и, наконец, вовсе вытесняет Голядкина из жизни — в сумасшедший дом...

Нет, вовсе не то важно, что безумие Голядкина — болезнь. Куда

важнее, что такие вот тяжкие, порой нестерпимые душевные муки сносит всякий бедняк, возмечтавший сохранить в этом мире хоть крупицу своего человеческого достоинства.

В «Бедных людях» Достоевский заставил героев самих рассказать свою жизнь — со всеми ее мелочными подробностями. В «Двойнике» он стремился как бы распахнуть настежь людскую душу — чтобы невидимые, неуловимые, казалось бы, внутренние движения ее запечатлеть, вытащить на свет божий. А средством запечатлеть, словесно выразить как раз и было безумие героя. В безумном мозгу Голядкина обретали очертания, получали краски и голоса невещественные, невидимые никому, но такие жестокие, такие привычные душевные страдания бедного маленького человека.

Небывалый сюжет, разработка смелая, острая до дерзости... Будущее не сулило Якову Петровичу Голядкину столь привычной и милой его сердцу безвестности. Литературная судьба его обещала быть громкой — либо решительным успехом, либо совершенным падением... Нет, именно успехом! Автор «Двойника» верил в это. «Голядкин выходит превосходно; это будет мой c'hef-dóeuvre...»

## «Любопытство насчет меня страшное...»

«Бедные люди» еще не были напечатаны, «Двойник» еще не был окончен, а имя Достоевского уже повторял весь литературный Петербург.

Давно ли он гадал: пожелают в «Отечественных записках» прочесть его роман или так и вернут, не прочитав? «... А если прочтут, так через полгода. Там рукописей довольно и без этой. Напечатают, денег не дадут...» Теперь издатель «Отечественных записок» Краевский, как великую милость, получил от Некрасова на денек корректуру «Бедных людей». Сам прочитал и одолжил известного писателя князя Владимира Федоровича Одоевского — дал ему роман на одну ночь с условием никому не показывать и к утру возвратить.

Первое письмо, которое отправил Достоевский брату по возвращении в Петербург, исполнено было тоски и мрачных предчувствий. Но прошло всего несколько дней, и его сплин рассеялся. С удивлением и робостью увидел Достоевский необыкновенное внимание к своему роману и к самой своей особе. Восхищение Белинского, восторженные отзывы Некрасова, неумолчные хвалы Григоровича, разнесенные присяжными вестовщиками во все уголки читающего Петербурга, в двеетри недели сделали имя его знаменитым в литературном кругу. Волей-

неволей пришлось принять на себя роль известного писателя, и, правду сказать, роль эта забавляла и радовала его, как ребенка.

«Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб... обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: Кто этот Достоевский? Где мне *достать Достоевского?* Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему, что Достоевский не захочет вам сделать чести, осчастливить вас своим посещением...»

Спустя некоторое время, прочитав «Бедных людей», модный писатель и светский денди граф Соллогуб сам разыскал их автора. Войдя в его квартиру, окинул удивленным взглядом маленькую комнату и поношенный сюртук хозяина, заметил, что рукава сюртука были чрезвычайно коротки, точно его шили на кого-то другого. Федор Михайлович предложил гостю кресло, как увидел Соллогуб, единственное в комнате, старомодное и ветхое. На все вопросы о своем романе Достоевский отвечал негромко, скромно и весьма неопределенно. Посидев минут двадцать, граф поднялся и, прощаясь, очень звал к себе.

— Нет, граф, простите меня, — Достоевский как будто смутился, — я, право, в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться...

— Полноте, любезный Федор Михайлович! Мы с женой принадлежим к большому свету и ездим туда, но к себе его не пускаем!..

Граф настаивал, Достоевский отнекивался, но, наконец, пообещал как-нибудь посетить Соллогуба.

Разумеется, всеобщее внимание к его особе и повсеместное любопытство на его счет приятно тешили самолюбие молодого писателя. Но куда больше, чем эта шумная известность, радовало его то, что он как свой, как равный — нет, пожалуй, как первый среди равных! — принят был в кругу избранных, в кругу Белинского.

«Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне до-нельзя расположен и серьезно видит во мне *доказательство перед публикою* и оправдание мнений своих». Пылкий критик проникся к юному автору «Бедных людей» истинно отеческой нежностью. Его умиляла даже внешность Достоевского — то, что он был невысок, худощав, бледен.

— Не велика птичка, — говорил Белинский приятелям и указывал рукой чуть не на аршин от полу, — не велика птичка, а коготок востер!

Немало удивились приятели, когда увидели, что «птичка» ростом выше самого критика. Но Белинский-то смотрел на своего нового любимца глазами многоопытного, умудренного жизнью наставника. Он

хотел объяснить Достоевскому его самого. Обещал после выхода «Петербургского сборника» написать большую статью о «Бедных людях».

— Да вот увидите, — говорил Белинский, — я буду писать. Тогда только раскроется все художественное значение «Бедных людей». Это такой роман, о котором можно написать целую книгу вдвое его толще!

— Признаюсь, — пожимал плечами Достоевский, — я не нашел бы, чем наполнить и коротенькую рецензию. Похвала коротка — а если растянуть ее, выйдет однообразно.

— Это только доказывает, — улыбался Белинский, — что вы не критик и взялись бы не за свое дело. Разбирать подобное произведение — значит выказать его сущность, значение, причем легко можно обойтись и без похвалы: дело слишком ясное и громко говорит само за себя — но сущность и значение подобного художественного создания так глубоки и многозначительны, что в рецензии мало только намекнуть на них.

Подолгу просиживали они, беседуя, в скромном кабинете Белинского. Эта тесная комнатка запомнилась Достоевскому на всю жизнь. Два окна, направо от окон большой письменный стол, рядом конторка. Над столом множество портретов — великие писатели, друзья. Вдоль других стен — высокие стеллажи с книгами. Книги с верхних полок Белинский доставал с помощью складного табурета-лесенки. На подоконниках цветы — множество горшков с цветами. И нигде ни соринки, безукоризненная опрятность и чистота.

Для него — и для него одного! — здесь часами говорил человек, к суждениям которого жадно прислушивались во всех уголках России.

«...Привязавшись ко мне всем сердцем, — вспоминал Достоевский, — он тотчас же бросился, с самою простодушною торопливостью, обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере, в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма».

— Нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, — горячо восклицал Белинский, — нелепо и жестоко требовать от человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел!..

Зажигаясь собственной речью, отчего лицо его покрывалось лихорадочным румянцем, а глаза горели, Белинский говорил о необходимости устроить человеческое общество на новых, справедливых началах и провозгласить новую мораль взамен христианской морали старого мира.



И. С. Тургенев.
*Рисунок К. Горбунова. 1846 г.*

— Христос, если бы родился в наше время, — сказал он как-то, — был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и нынешних двигателях человечества.

— Ну, нет! — подхватил бывший при разговоре один из друзей Белинского. — Ну, нет! Если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его.

— Да, — согласился Белинский, — он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними!..

Помочь несчастному, страждущему человечеству — ведь именно об этом мечтал и он, Федор Достоевский. Пусть не все мысли Белинского разделял он вполне, но сама безоглядная решимость этого болезненного, одержимого человека завораживала, захватывала его, и на дру-

жескую горячность Белинского сердце его отвечало не менее пылкой и радостной привязанностью.

Так же скоро и как-то особенно доверительно сошелся Достоевский с Николаем Алексеевичем Некрасовым. Всегда немногословный, сдержанный, Некрасов наедине с Достоевским неузнаваемо менялся, душа его будто приоткрывалась. Он начинал говорить порывисто, со страстной откровенностью. Однажды рассказал о своем ужасном детстве, о безобразной жизни помещика-отца, о своей покойной матери, которую нежно любил, о неутешных детских слезах — как он рыдал, обнявшись с матерью, где-нибудь в уголке, украдкой, чтобы не увидели. И боль этого так рано истерзанного сердца слышалась теперь Федору Михайловичу в горьких гневных стихах, которые читал ему Некрасов:

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть...

В начале ноября к Белинскому пришел только что вернувшийся из Парижа молодой поэт Иван Сергеевич Тургенев. Его и Достоевского тотчас представили друг другу.

Прочитав «Бедных людей», Тургенев загорелся пуще самого Белинского.

«На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал), — рассказывал Федор Михайлович брату, — и с первого раза привязался ко мне такою привязанностью, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет,—я не знаю в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо-прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе... На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь. Эти господа уж и не знают как любить меня. Влюблены в меня все до одного...»

Им восхищались, за ним ухаживали. Жизнь его покатилась весело и празднично. Новая обстановка, новые лица — и все обращены к нему, все улыбаются...

Как-то ноябрьским вечером Некрасов и Григорович привели его к Панаевым. В обширной и богато обставленной квартире толпился народ — по большей части писатели, переводчики, артисты.

С Иваном Ивановичем Панаевым, давним приятелем Белинского, автором бойких занимательных повестей, человеком веселым, добрым,



И. И. Панаев.
*Литография. 50-е годы XIX в.*

безалаберным и легкомысленным, Достоевский уже был знаком. О жене Панаева — Авдотье Яковлевне — наслышался от Некрасова. Узнал, что она умна и образована, что на весь Петербург славится своей красотой. Он заранее ждал встречи с женщиной необыкновенной, но нет, он и вообразить себе не мог такого прелестного и странного смешения несовместимых, казалось, черт в одном человеческом существе. Во всем ее облике сквозило нечто гордое. Посадка головы, высокий спокойный лоб, чуть короткая верхняя губка маленького рта — все выражало какую-то надменность, даже презрительность. И в то же самое время большие темные глаза смотрели доверчиво и простодушно. Ему почудилось что-то тревожное, что-то затаенное и мучительное в самой странности, в самой противоречивости этой удивительной натуры.



*А. Я. Панаева.*
*Акварель К. Горбунова (?), 40-е годы XIX в.*

И с первого взгляда он исполнился сочувствием и нежностью к этой прекрасной и, как показалось ему, страдающей женщине.

«Вчера я в первый раз был у Панаева, — писал он в Ревель 16 ноября, — и, кажется, влюбился в жену его. Она славится в Петербурге. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма до-нельзя».

Радушно, ласково встречала Авдотья Яковлевна в своем доме этого застенчивого юношу, которого сам Белинский называл гением. Но не похвалами Достоевскому объяснялась ее приветливость. Она видела, как робко входил он в комнату, как беспокойно перебегали с предмета на предмет его опущенные серые глаза, как нервно подергивались губы, и женским своим чутьем понимала, что, несмотря на все успехи, новоявленному светилу живется нелегко, сиротливо, одиноко и что он

чувствует себя потерянным в большом незнакомом обществе. Она старалась ободрить его, шутила с ним. И эта милая ее заботливость рвала ему сердце. Благодарность мешалась с отчаянием оттого, что так же ласково, так же весело и вместе слегка надменно встречала она и многих других. Хотелось кинуться к ней, упасть к ее ногам и попросить жалобно: «Не привечивайте вы их всех, Авдотья Яковлевна. Привечивайте только меня, меня одного».

Уходя от Панаевых чуть не последним, он с трудом поднимался со стула. Так бы все сидел и смотрел без конца на нее, на красавицу...

Домой шел через силу. Через силу взбирался к себе по лестнице. И скорее—за рукопись, к недописанной странице похождений почтеннейшего Якова Петровича Голядкина, ибо ничто так не успокаивало, ничто так не целило, как работа.

## «Я даже далеко ушел от Гоголя»

В одиннадцатом номере «Отечественных записок» за 1845 год появилось объявление об издании нового «летучего карманного альманаха» под названием «Зубоскал».

«...Конечно, смеяться можно, смеются все, отчего же не смеяться? — но смеются кстати, смеются при случае, смеются с достоинством, — не попусту *скалят зубы,* как вот здесь, из одного заглавия вашего явствует — одним словом, известно, как смеются... Да и почему знать, не намерение ли здесь какое скрывается? — скажут в заключение те, которые любят во всем, что до них не касается, видеть намеренье, даже дурное намеренье: — не фальшь ли тут какая-нибудь; может быть, даже неблаговидный предлог к чему-нибудь, может быть, даже вольнодумство какое-нибудь... — гм! — может быть, очень даже может быть, — при нынешнем направлении особенно может быть. И наконец, грубое, немытое, площадное, нечесанное, мужицкое название такое — «Зубоскал»! Почему «Зубоскал»? зачем «Зубоскал»?.. Да уж если на то пошло, так мы и расскажем вам, кто он именно такой, наш *Зубоскал...*»

Так начиналось это необыкновенное, насмешливое объявление. Написал его Достоевский. Типографские издержки по новому изданию брал на себя Некрасов. Вместе с Григоровичем, втроем, они становились во главе «Зубоскала». Альманах должен был «цеплять» своей насмешкой столичное общество, журналы, театр, литературу, газетные известия — словом, под видом беззлобного зубоскальства обличать пошлость и мерзость окружающего.

Достоевский со всегдашней своей горячностью желал немедленно, прямо и громогласно заявить о своей приверженности к «натуральной школе» — литературной школе жизненной правды, отцом которой был Гоголь. Ему не терпелось кинуться за нее в журнальную драку, так сказать, «в рукопашную». «Зубоскал» был для того наилучшей ареной. Оттого-то с таким рвением принялся Достоевский за дело.

Для начала пообещал Некрасову злые «Записки лакея о своем барине». Несколько дней спустя придумал еще рассказ для «Зубоскала» — это была переписка двух шулеров, морочащих один другого. Сюжет пришел к нему за разговором, когда он как-то вечером сидел у Некрасова. Вернувшись домой, Достоевский взялся за перо и всю ночь писал. К утру «Роман в девяти письмах» — так назывался рассказ — был готов. Автор отнес его Некрасову. Некрасов, пробежав глазами рукопись, тут же выложил на стол гонорар — 125 рублей. И это за каких-то несколько страничек! Так платили лишь самым маститым писателям.

**«Зубоскалъ,**

***комическій альманахъ, въ двухъ частяхъ (въ 8-ю д. л.), раздѣленныхъ на 12 выпусковъ, отъ 3-хъ до 5-ти листовъ въ каждомъ, и украшенныхъ политипажами.***

**«Прежде всего просимъ васъ, господа благовоспитанные читатели нашего объявленія, не возмущаться и не возставать противъ такого страннаго, даже затѣйливаго, даже, быть-можетъ, неловко-затѣйливаго названія предлага-**

Объявление о «Зубоскале» в журнале «Отечественные записки».

Вечером того же дня Достоевский прочел свой «Роман в девяти письмах» у Тургенева, где собиралось множество гостей. Успех был полный.

— Я теперь уверен в вас совершенно, — сказал ему Белинский, — ибо вы можете браться за совершенно различные элементы.

Некрасов уже обдумывал, кому заказать обложку и иллюстрации для «Зубоскала», когда вдруг узнал, что издание альманаха не будет разрешено. Начальство нашло неприличным и даже весьма предосудительным сочиненное Достоевским объявление. Этого было довольно, чтобы погубить еще не родившийся альманах. Федор Михайлович досадовал на собственную неосторожность, досадовал на тяжелую руку цензуры. Но как ни жаль было хоронить милый его сердцу «Зубоскал», предаваться унынию не приходилось — надо было поскорее разделываться с «Двойником».

Поначалу он думал дописать роман еще в августе. Но вот уже миновали и август, и сентябрь, и октябрь...

*«Яков Петрович Голядкин* выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему; никак не хочет вперед идти, претендуя, что еще ведь он не готов, а что он теперь покамест сам по себе, что он ничего, ни в одном глазу, а что, пожалуй, если уж на то пошло, то и он тоже может, почему же и нет, отчего же и нет? .. Раньше половины ноября никак не соглашается окончить карьеру. Он уж теперь объяснился с Его Превосходительством и, пожалуй, (отчего же нет) готов подать в отставку. А меня, своего сочинителя, ставит в крайне-негодное положение».

Увы! Не только в половине ноября, но и в начале декабря роман еще не был готов. Белинский потерял терпение. Он объявил, что устраивает литературный вечер (чего почти никогда не делал), созывает всех друзей и приятелей и требует, чтобы Достоевский прочел им хоть первые главы своего «Двойника».

Тесный кабинет Белинского был полон. В углу комнаты, у стола, примостился Достоевский. Возле него, торжественный и взволнованный,— сам хозяин. Несколько поодаль уселся Андрей Александрович Краевский, с благодушной, но неизменно важной миной на полном лице. Из-за его спины выглядывал как всегда веселый и непоседливый Григорович.

Достоевский невольно припомнил то недавнее, но теперь уже такое далекое утро, когда он вот так же, как сейчас, сидел за столом, развернув свою рукопись, а перед ним в радостном изумлении хлопал глазами и ерзал на своем стуле один-единственный слушатель — Митя Григорович. . .

Достоевский начал:

— «Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои. . .»

Насупившись и опустив голову, слушал Некрасов. Весело, точно говоря: «Знай наших!» — поглядывал по сторонам Григорович. Одобрительно и все так же самодовольно кивал Краевский. По временам, оборачиваясь к соседям, Белинский громким шепотом восклицал, что один только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей.

Описывая нрав господина Голядкина, его робость и стремление не выделяться из толпы, а, напротив, замешаться, спрятаться в самую гущу ее, Достоевский употребил глагол «стушеваться». Этим словцом он обозначил способность господина Голядкина плавно, деликатно, неприметно погружаться в ничтожество. Так же неприметно, как сбывает тень в рисунке, когда ее «стушевывают» постепенно от темного к более светлому и потом вовсе сводят на нет. Словцо это употребляли в литературе и прежде, но здесь оно пришлось так кстати, прозвучало так



Свежий кавалер.
*Картина П. Федотова. 1846 г.*

остро и забавно, что все сразу заметили его и приняли с восхищением, как будто прежде никогда не слыхали.

После чтения Достоевский услышал такие похвалы, каких не слыхал и за «Бедных людей». Правда, Белинский находил, что молодому писателю еще надо *набить руку,* избавиться от многословия и частого повторения одних и тех же понравившихся ему выражений. Но об этом критик говорил лишь мимоходом. Оригинальность и трагическая сила, которую угадывал он в новом творении Достоевского, с лихвою искупали в его глазах некоторую манерность изложения.

«Представь себе, что наши все, и даже Белинский, нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя... Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую анализом, а не синтезом, т. е. иду в глубину, и, разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. Прочтешь и сам увидишь».

Белинский нетерпеливо желал прочесть весь роман до конца, и

в статье, которую он намеревался написать по выходе «Петербургского сборника», разобрать уже не только «Бедных людей», но и «Двойника».

По иной причине, но столь же нетерпеливо, ожидал окончания романа и издатель «Отечественных записок» Краевский. Еще в начале осени он уговорился с Достоевским, что «Двойник» появится в его журнале и непременно до конца года. Осенние месяцы — время подписки. Нашумевшее имя Достоевского могло стать приманкой для читателей — а чем больше читателей, тем выше доход. Для Краевского же ни одно другое слово не звучало так сладостно и призывно, как «доход».

Для верности Андрей Александрович даже упросил Федора Михайловича взять у него пятьсот рублей вперед. И вот теперь Краевский незримо и неотступно стоял за плечами: «Скорей! Скорей!» Дошло до того, что издатель забрал у автора неоконченную рукопись и отослал ее в типографию, в набор, а тем временем автор должен был дописывать последние главы. Он писал дни напролет. К вечеру голова горела, сердце бешено стучало, он чувствовал себя разбитым, больным и — несмотря на это — счастливым. Уж теперь-то он твердо знал, что делает настоящее дело. Теперь он, как никогда, был уверен в своих силах.

Эта уверенность помогала мириться со многим. Она почти утешила даже в безответной, безнадежной, безумной, проклятой любви к первой петербургской красавице.

«Я был влюблен не на шутку в Панаеву, теперь проходит...»

## «Я обманул ожидания...»

Только в исходе января следующего 1846 года Достоевский отослал, наконец, последние страницы «Двойника» в типографию.

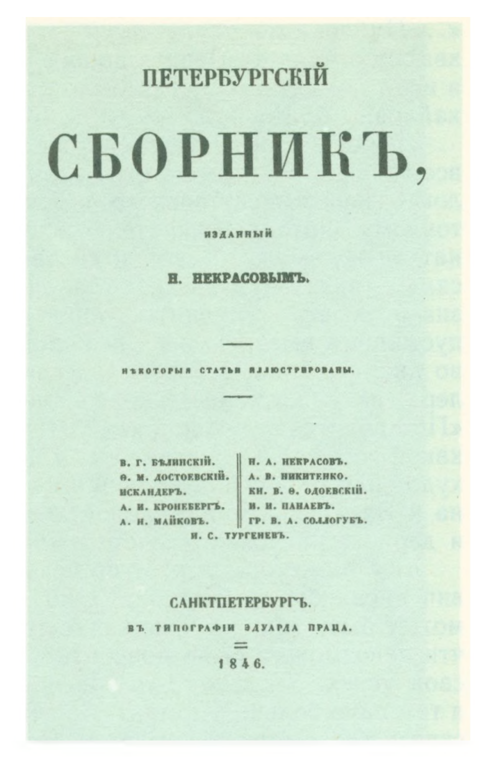
Первого февраля он писал брату:

«Сегодня выходит Голядкин. *4 дня* тому назад я еще писал его. В «Отечественных записках» он займет 11 листов. Голядкин в 10 раз выше «Бедных людей». Наши говорят, что после «Мертвых душ» на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное и чего-чего не говорят они! С какими надеждами они все смотрят на меня! Действительно, Голядкин удался мне до-нельзя. Понравится он тебе, как не знаю что! Тебе он понравится даже лучше «Мертвых душ», я это знаю».

Чуть раньше «Двойника», в середине января, вышел из печати «Петербургский сборник» с «Бедными людьми». Присяжные рецензенты

тотчас кинулись на поживу. Противники Белинского, новой литературной школы были заранее раздражены шумными толками о романе, который никто не читал, но все хвалили.

«...Уверяли, что в этом альманахе явится произведение нового, необыкновенного таланта, произведение высокое, едва ли не выше творений Гоголя и Лермонтова... Душевно радуясь появлению нового дарования среди бесцветности современной литературы русской, мы с жадностию принялись за чтение романа г. Достоевского и, вместе со всеми читателями, жестоко разочаровались...» Так, с притворным сожалением и искренним недоброжелательством, писала тридцатого января газета Фаддея Булгарина «Северная пчела». Всего лишь день спустя «Пчелка» опять обругала «нового гения г. Достоевского» и тех, кто «превозносит до небес» его роман. Булгарин повторил свои нападения первого марта и потом девятого марта... Неутомимый Фаддей, некогда поносивший Пушкина и обливавший грязью Гоголя, теперь ополчился на Достоевского.


ПЕТЕРБУРГСКІЙ

СБОРНИКЪ,

ИЗДАННЫЙ

Н. НЕКРАСОВЫМЪ.

НѢКОТОРЫЯ СТАТЬИ ИЛЛЮСТРИРОВАНЫ.

| | |
|---|---|
| В. Г. БѢЛИНСКІЙ. | Н. А. НЕКРАСОВЪ. |
| Ѳ. М. ДОСТОЕВСКІЙ. | А. В. НИКИТЕНКО. |
| ИСКАНДЕРЪ. | КН. В. Ѳ. ОДОЕВСКІЙ. |
| А. Н. КРОНЕБЕРГЪ. | И. И. ПАНАЕВЪ. |
| А. Н. МАЙКОВЪ. | ГР. В. А. СОЛЛОГУБЪ. |

И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА.

1846.

Альманах «Петербургский сборник».
*Титульный лист. 1846 г.*

Решительно разбранила «Бедных людей» и еженедельная газета «Иллюстрация»: «Роман... не имеет никакой формы и весь основан на подробностях утомительно однообразных, наводит такую скуку, какой нам еще испытывать не удавалось».

За Достоевского вступился рецензент «Русского инвалида», заметивший, между прочим, что самый спор восторженных поклонников и запальчивых порицателей молодого писателя есть «лучшее доказательство его талантливости».

День ото дня страсти разгорались. Не было, кажется, журнала и даже газеты в Петербурге и в Москве, где позабыли бы сказать свое слово о господине Достоевском. Публика разделилась на партии.

«...Публика в остервенении: ругают 3/4 читателей, но 1/4 (да и то нет) хвалит отчаянно. Debats пошли ужаснейшие. Ругают, ругают, ругают, а все-таки читают... Так было и с Гоголем», — осведомлял Федор Михайлович брата.

Любопытство на его счет не только не остывало, но разгоралось все сильнее. Причем во всех слоях общества. Писатель Владимир Соллогуб повез Достоевского к своему тестю графу Виельгорскому — тонкому знатоку и ценителю искусств, прекрасному музыканту, меценату и вельможе. В его доме на Михайловской площади, в одном из самых аристократических салонов Петербурга, бывала и светская знать, и все знаменитые писатели, художники, артисты. «Я, брат, пустился в высший свет...» Говорили, что его «Бедных людей» читают во дворце. А на Невском проспекте, в многолюдной кондитерской Излера, на видном месте красовалось картинное объявление о продаже «Петербургского сборника». Вверху огромного листа изображен был какой-то бюст на постаменте, а по сторонам его, спиною друг к другу, художник нарисовал большие фигуры Макара Алексеевича Девушкина и Вареньки Доброселовой. Макар Девушкин сидел с пером в руке и держал на коленях лист бумаги. Варенька читала письмо.

Еще в октябре, вскоре по возвращении из Ревеля, Федор Михайлович писал брату: «Вообще говоря, будущность (и весьма недалекая) может быть хороша и может быть и страх как дурна». Ему трудно, почти невозможно было поверить в столь быстрый и столь решительный свой успех. Уж отчего-то так повелось на белом свете, что талант — а тем паче большой талант — вечно должен был пробивать себе дорогу сквозь годы лишений и тягот. Не оттого ли, что талант всегда приходит с чем-то своим, новым, к чему большинство людей не вдруг может привыкнуть? Но ведь и он пишет не так, как нравится большинству публики, а вот поди ж ты!.. В начале февраля, не скрывая ликования, он уверял Михаила: «А у меня будущность преблистательная, брат!»

Солнце удачи ярко светило над ним в безоблачном, казалось бы, небе. И вдруг — точно набежало облачко, точно блеск дневного света потускнел — он узнал, что Белинский, получив из типографии свежий номер «Отечественных записок», дочитав до конца его «Двойника», остался им не совсем доволен.

Нет, Белинский по-прежнему находил в романе бездну творческого таланта и необыкновенную глубину мысли. Но при этом... При этом он все же полагал, что роман не вполне удался, что огромный талант Достоевского не вполне еще созрел, не определился до конца, и потому молодой писатель не совладал с избытком собственных богатых сил.

— Главный недостаток, от которого вам надо избавиться, — с улыбкой говорил он Достоевскому, — ваша молодость.

В начале апреля, после двух месяцев молчания, Федор Михайло-



Дом на площади Искусств, 5, где жил М. Ю. Виельгорский.
*Фотография.*

вич в весьма грустном настроении писал брату: «...Вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский и все мною недовольны за Голядкина. Первое впечатление было — безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе — критика. Именно все, все с общего говору, т. е. *наши* и вся публика нашли, что до того Голядкин скучен и вял, до того растянут, что читать нет возможности. Но что всего комичнее, так это то, что все сердятся на меня за растянутость и все до одного читают напропалую и перечитывают напропалую... Иные из публики кричат, что это совсем невозможно, что глупо и писать и помещать такие вещи, другие же кричат, что это с них и списано и снято...»

В мартовской книжке «Отечественных записок» за 1846 год была напечатана статья Белинского о «Петербургском сборнике». Речь в ней шла прежде всего о «Бедных людях».

«...Трагический элемент глубоко проникает собою весь этот роман,—писал Белинский.—Этот элемент тем поразительнее, что он передается читателю не только словами, но и понятиями Макара Алексеевича. Смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы — какое уменье, какой талант!.. Легче перечесть весь роман, нежели пересчитать все, что в нем превосходного, потому что он весь, в целом превосходен».

Говоря о первом романе Достоевского, критик коснулся и второго: «Дело в том, что так называемая растянутость бывает двух родов: одна происходит от бедности таланта, — вот это-то и есть растянутость; другая происходит от богатства, особливо молодого таланта, еще не созревшего, — и ее следует называть не растянутостью, а излишнею плодовитостью... Очевидно, что автор «Двойника» еще не приобрел себе такта меры и гармонии, и оттого не совсем безосновательно многие упрекают в растянутости даже и «Бедных людей», хотя этот упрек и идет к ним меньше, нежели к «Двойнику». Итак, в этом отношении суд толпы справедлив; но он ложен в выводе о таланте г. Достоевского. Самая эта чрезмерная плодовитость только служит доказательством того, как много у него таланта и как велик его талант».

Даже и порицания ему звучали в устах Белинского похвалой. И какой похвалой! Однако же о сравнении его «Двойника» с «Мертвыми душами» в статье, понятно, уже не было и помину. И, как ни утешал его рецензент, выходило, что он не совладал с огромностью своего замысла, не сумел окончить, как начал.

Внезапный этот переход от шумных восторгов к осторожной, но все-таки критике, жестоко уязвил молодого писателя.

Теперь он и сам строго и даже пристрастно взглянул на свой роман. Разочарование — вот что было больнее всего... «Что же касается до меня, то я даже на некоторое мгновение впал в уныние. У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении. Первая половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя. Брат, я тебе пришлю Голядкина через две недели, ты прочтешь. Напиши мне свое полное мнение».

От непрестанной лихорадочной работы, от пьянящего удовольствия быть знаменитым он теперь вдруг почувствовал смертельную уста-

лость. Нервы его были раздражены до предела, силы истощены, и обнаружившийся внезапно неуспех романа неминуемо должен был свалить его с ног...

## Новый друг

Только что закончив «Двойника», он писал брату: «Здоровье мое ужасно расстроено; я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической». Мучительные переживания следующих недель довершили дело — в начале апреля он слег. Врачи сошлись в диагнозе: сильнейшее раздражение всей нервной системы. Положение его находили критическим, опасались воспаления в сердце. Дважды пускали кровь, ставили пьявки, пичкали всевозможными декоктами, каплями, микстурами. «Теперь я вне опасности. Но только потому, что болезнь осталась при мне и по объявлению доктора моего — так как она была приготовлена тремя или четырьмя годами, то и вылечиться можно не в малое время».

Ему прописали строгую диету, посоветовали жить тихо и размеренно, а также, если удастся, переменить климат, то есть на время уехать из Петербурга.

Когда он немного окреп и встал на ноги, один из приятелей познакомил его с доктором, который сам вызвался наблюдать за столь любопытным пациентом.

Доктора звали Степаном Дмитриевичем Яновским, служил он в департаменте казенных врачебных заготовлений и был завзятым любителем литературы.

Яновский прочел «Бедных людей» и «Двойника», знал, как шумит имя Достоевского в литературном мире, и обрадовался случаю свести знакомство с известным писателем.

При первой же встрече наметанный глаз медика сразу уловил характерные черты внешности пациента: широк в кости, особенно широк в плечах и в груди, кисти рук и ступни ног приметно большие, волосы светлые, тонкие и мягкие, голова пропорциональная; одет опрятно и даже изящно — отлично сшитый черный сюртук из самого дорогого английского сукна, черный казимировый жилет, безукоризненной белизны голландское белье и циммермановский цилиндр. Только штиблеты весьма поношенные и не модные.

Яновский долго выстукивал и выслушивал пациента.

— Легкие совершенно здоровы. Но удары сердца не совсем равномерны. Пульс неровный и весьма сжатый. Это, впрочем, часто бывает



Петербургская улица.
*Акварель Ф. Баганца. 50-е годы XIX в.*

у женщин и у людей нервного темперамента... Недели три попьете видоизмененный декокт Цитмана.

— Это зачем?

— Это от золотушно-скорбутного худосочия, симптомы которого у вас выражены в сильной степени...

Через несколько дней Достоевский снова наведался к врачу. Стал приходить каждую неделю. Раз от раза врач и пациент все больше нравились друг другу. И вскоре уже Федор Михайлович виделся с Яновским почти всякий день. Приходил к половине девятого утра — с тем, чтобы вместе выпить утренний чай и еще полчасика потолковать о том, о сём.

— Ну, кажется, ничего. Сегодня тоже не дурно, — говорил, входя в комнату, Достоевский и, быстро взглянув в зеркало, наскоро приглаживал рукой волосы. — Ну, а вы, батенька? Ну да, вижу, вижу — ничего. Ну, а язык как вы находите? Мне кажется, беловат, нервный. Спать-то спал, ну а вот галлюцинации-то, батенька, были, и голову мутило...



С. Д Яновский.
*Фотография. 50-е годы XIX в.*

Яновский приступал к осмотру: щупал пульс, слушал удары сердца.

— Все идет хорошо, а галлюцинации от нервов.

— Ну конечно, нервы, — соглашался Федор Михайлович, повеселев, — значит, кондрашки не будет? Это хорошо! Лишь бы кондрашка не пришиб, а с остальным сладим.

«Кондрашкой» называл он паралич.

Садились за чайный столик.

— Ну, а мне полчашечки и без сахару, — неизменно просил Федор Михайлович, — я сначала вприкусочку, а вторую с сахаром и с сухариком.

За чаем Достоевский часто заговаривал о медицине, принимался расспрашивать Яновского об анатомии, о строении черепа и мозга, о болезнях нервной системы и душевных болезнях. Особенно занимала Федора Михайловича бывшая тогда в ходу теория Галля, согласно

которой характер и склонности человека находили отражение в форме его черепа. Он внимательно рассматривал и ощупывал собственную голову. Яновскому его обширный лоб с резко выделявшимися лобными пазухами и далеко выдававшимися окраинами глазниц при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, напоминал голову Сократа. Достоевский сходством был доволен и обыкновенно, говоря об этом, добавлял:

— А что нет шишек на затылке, это хорошо: значит, не юбочник. Это и верно. Даже очень верно.

Разлучаясь хотя бы не надолго, они писали друг другу письма. «Вот какого рода сцены представляются здесь на ваше благоусмотрение...— спешил поделиться Яновский с автором «Бедных людей» своими впечатлениями от пребывания в Москве. — Три или четыре дня тому назад я полчаса любовался из окна, как один квартальный надзиратель, может быть, асессор, а уж непременно титулярный, стоял на вытяжку, без шляпы и руки по швам, перед каким-то полицмейстером. Или: только успели мы войти в номер гостиницы, как явился тот час какой-то чиновник... и что же? начинает с того, что просит дозволения поцеловать ручку... Прошу вас, не схандритесь до моего приезда, ибо при свидании я хочу Вам рассказать вещи довольно потешные и интересные».

Врач и пациент стали друзьями. Нередко Яновский, и сам весьма небогатый, ссужал Федора Михайловича несколькими рублями.

— Вот ведь знаю, что у вас я всегда могу взять рублишко,— говорил при этом Федор Михайлович, — а все-таки как-то того... Ну да у вас возьму, вы ведь знаете, что отдам.

Среди их общих знакомых было немало людей, кого часто пришибала крайняя нужда. И как-то раз Достоевский сказал:

— Как бы нам составить такой капиталец, ну хоть очень маленький, рублей в сотняжку, из которого можно было бы заимствоваться в случае крайности, как из своего кошелька!

Яновский согласился, откладывая из жалованья, сколотить сотенный «капиталец», и вскоре один из ящиков его письменного стола обратился в кассу для помощи нуждающимся друзьям. Здесь лежали деньги и написанные рукою Федора Михайловича правила. В них значилось, сколько каждый может взять денег из кассы, когда и в каком расчете взятая сумма должна быть возвращена. Оговорено было, что нарушивший правила мог получить ссуду не иначе как с чьим-либо ручательством. Если же кто и после этого оказывался неаккуратным, кредит ему прекращался. Кроме главной кассы в сто рублей была заведена еще и маленькая копилка, куда бросали серебряные пятачки — деньги эти раздавали нищим.

У Яновского Федор Михайлович бывал чаще, чем у кого-либо из



Заштатный чиновник.
*Рисунок Л. Жемчужникова. 40-е годы XIX в.*

друзей. Теперь нередко засиживался у него по вечерам, порою оставался ночевать. Совет или даже просто доброе слово друга-доктора помогали ему и ободряли. Он по-прежнему не чувствовал себя вполне здоровым — жаловался на какую-то самому ему не понятную болезнь нервов, которую называл «головными дурнотами», или, шутя, «кондрашкой с ветерком». Эту болезнь полагал он причиною случавшихся с ним время от времени припадков. Яновский, следом за другими врачами, просил его избегать сильных впечатлений и душевного волнения. Чтобы исполнить этот совет, ему пришлось бы первым делом бросить писать. Но зачем тогда здоровье, зачем сама жизнь?

Едва встав с постели, он снова принялся за работу — и теперь писал уже не одну повесть, а две разом.

## «В Италии, на досуге, на свободе...»

Свои новые повести Достоевский предназначал для альманаха, который задумал издавать Белинский с помощью Некрасова.

«*Белинский* оставляет «Отечественные записки», — объяснял Федор Михайлович брату. — Он страшно расстроил здоровье, отправляется на воды, может быть, за границу. Он не возьмется за критику года два. Но для поддержания финансов издает *исполинской* толщины альманах (в 60 печатных листов). Я пишу ему две повести: 1-я) «Сбритые бакенбарды», 2-я) «Повесть об уничтоженных канцеляриях», обе с потрясающим трагическим интересом и — уже отвечаю — сжатые донельзя. Публика ждет моего с нетерпением... «Сбритые бакенбарды» я кончаю».

Но случилось так, что вторую повесть он окончил раньше первой. Работа над «Сбритыми бакенбардами» вдруг запнулась, остановилась, а «Повесть об уничтоженных канцеляриях» давно сложилась в голове и сама просилась на бумагу, не давала покоя. И он сел за нее.

Сюжет этот явился ему еще года два назад, когда он случайно наткнулся в «Северной пчеле» на крохотную заметку о смерти некоего безвестного чиновника, коллежского секретаря Бровкина. Где-то на Васильевском острове, у бабы-солдатки снимал коллежский секретарь весьма тесный угол за пять рублей ассигнациями в месяц. Питался впроголодь — хлебом, луком, редькой. Когда же Бровкин помер, в старом истертом тюфяке, на котором он спал, нашли больше тысячи рублей серебром! За такую-то удивительную скупость и выставила «Северная пчела» покойного Бровкина на общее посмеяние.

Достоевский дал своему Бровкину значащее имя — Прохарчин. И по фамилии главного героя назвал потом повесть — «Господин Прохарчин». Его чиновник голодал именно в страхе «прохарчиться» — то есть проесть, истратить свои гроши на харчи. Чиновник одержим был мыслью припрятать малую толику, скопить деньгу про черный день. Ему нипочем полуголодное существование — что там! — самой смерти он не боится, но постоянно грызет его тревога: а вдруг однажды ни с того ни с сего возьмут да и уничтожат за ненадобностью канцелярию, где он служит, лишат его места и жалования.

« — А она стоит да и нет...

— Нет! Да кто она-то?

— Да она, канцелярия... кан-це-ля-рия!!!

— Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то...

— Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна».

Леденящее душу одиночество человека в огромном городе, панический ужас перед завтрашним днем, перед шаткостью своего положения — вот что разглядел Достоевский за курьезом газетной хроники. И в его повести жалкий скопидом-чиновник приобретает черты зловещие, пугающие. Скрытый в углу за ветхими ширмами засаленный тюфяк, набитый серебряными и медными деньгами, обороняет своим тощим телом уже не какой-то там безобидный скупердяй, а этакий канцелярский Гарпагон — фигура одновременно забитая, уродливая и устрашающая.

Власть денег, власть безденежья... Со времени приезда в Петербург автор «Господина Прохарчина» на себе испытал неотвязную тяжесть каждодневной заботы о деньгах. Вот и теперь снова сидел он по уши в долгах. Гонорары за «Бедных людей» и «Двойника» ушли на уплату прежним кредиторам, на обновы (хотелось пофрантить), как-то незаметно растаяли, испарились. Весной 1846 года пришлось занять денег у Краевского. Летом, отправляясь к брату в Ревель, снова обратился к Краевскому. А расплачиваться он мог только работой: за каждые пятьдесят рублей печатный лист. Волей-неволей «Господина Прохарчина» отдал не в альманах Белинского, а в уплату за долг в «Отечественные записки» Краевскому. И всё деньги, проклятые деньги...

Летом, в семье брата, он, как всегда, отдыхал душою. Педантически-размеренное и сонное ревельское житье по-прежнему вызывало в нем раздражение. Но зато петербургские заботы представлялись отсюда какими-то бесконечно далекими, не страшными и даже, может быть, вовсе не существующими. Он то подолгу возился с трехлетним племянником Федей, то вдруг, к ужасу Эмилии Федоровны, начинал горячо убеждать брата бросить службу и ехать в столицу — пробивать себе дорогу в литературе.

Михаил уныло вздыхал, глядя на детей:

— Как тут рисковать?..

Лето минуло быстро. И вот уже снова гудит под ногами пароходная палуба, мерно врезаются в воду лопасти огромного колеса. Вспоминаются печальные глаза Михаила, розовый чепчик Эмилии Федоровны, насупленное личико Федора Михайловича-младшего. Бесконечно тянется время в сырой каюте и на палубе под ветром и дождем. И наконец из серых вод поднимается знакомый силуэт Кронштадта.

Приехав в Петербург, прямо с пристани Достоевский отправился к Константину Трутовскому, у него и остановился на первых порах. Отдохнув с дороги, стал подыскивать квартиру. В этом году, до поездки в Ревель, успел сменить уже две квартиры. Григорович еще ранней весной уехал в имение к матери. Оставаться одному в трех комнатах было накладно. Достоевский снял сперва две меблированные комнаты «от жильцов» в доме купца Кучина на углу Кузнечного переулка и

Гребецкой, затем жил в Кирпичном переулке между Малой и Большой Морскими улицами. Квартиры непременно снимал в угловых домах. Такая была фантазия. И теперь тоже присмотрел две маленькие, но хорошо обставленные комнаты в доме Кохендорфа на углу Большой Мещанской и Соборной площади — против Казанского собора. Торговаться не стал, сразу согласился с назначенной хозяином ценой — четырнадцать рублей серебром в месяц. Тотчас послал свой новый адрес Михаилу и просил поскорее написать: такая грусть на сердце! В сырой мгле грядущей осени ему виделись изнурительная работа, одиночество, тоска, болезни... «Петербург — ад для меня. Так тяжело, так тяжело жить здесь! А здоровье мое, слышно, хуже. К тому же я страшно боюсь. Что-то скажет, например, октябрь — до сих пор дни ясные... Я теперь почти в паническом страхе за здоровье. Сердцебиение у меня ужасное, как в первое время болезни».

Если бы вырваться, уехать хоть на полгода в теплые края, к южному морю и там, в благодатном климате, по-настоящему поправить здоровье!.. Ведь недаром врачи в один голос твердят: «Поезжайте на юг, поезжайте в Италию...» Но как уехать?.. Впрочем, если бы удалось подороже сбыть книгопродавцам право на отдельное издание двух первых романов и двух новых повестей, денег на поездку, пожалуй, стало бы.

Краевский по его просьбе переговорил с издателями — купцами Ратьковым и Кувшинниковым. Те предложили за все рукописи 4000. Долгов нужно было уплатить 1600 рублей, следовательно, оставалось 2400. «Я обо всем расспрашивал: проезд стоит 500 (крайнее). Да в Вене я сделаю платья и белья на 300 рублей, там дешево, всего 800; останется, стало быть, 1600».

В голове его сложился великолепный и заманчивый план. Он проживет в Италии восемь месяцев. Разумеется, будет там не гулять, а работать. «В Италии, на досуге, на свободе хочу писать роман...» Печатать его станет в «Современнике» Некрасова. С нового, 1847 года журнал «Современник» будут издавать Некрасов с Панаевым, а главным критиком у них Белинский. Отослав в «Современник» первую часть романа и получив за нее тысячу двести рублей, он на два месяца съездит из Рима в Париж. Вернувшись в Россию, напечатает вторую часть романа.

Ему уже виделось полуденное небо Кампаньи, шумные Елисейские поля. «Мы, брат, долго теперь не увидимся. Но по приезде из-за границы прямо заеду к тебе, где бы ты ни был. К 20 октября — время окончания сырого материала, т. е. Сбритых бакенбард — мое положение означится наияснейшим образом...»

И действительно, положение его вскоре совершенно прояснилось, но только совсем иначе, чем он предполагал.



На городской окраине.
*Акварель Ф. Баганца. 50-е годы XIX в.*

В середине октября вышел номер «Отечественных записок» с «Господином Прохарчиным». Достоевский настороженно ждал отзыва Белинского. В глубине души надеялся, что тот останется доволен. Но, увы, в отзыве явно сквозили разочарование и досада.

— В вашем «Прохарчине», — говорил Белинский, — сверкают яркие искры большого таланта. Но сверкают они в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю. Повесть походит более на рассказ о каком-то истинном, но странном и запутанном происшествии, чем на поэтическое создание.

Вот как обернулось дело с «Прохарчиным»...

Федор Михайлович много думал об отзыве Белинского. Значит, другие — и даже Белинский — не видят в его созданиях того, что видит он сам. Ему казалось, что предпринятое им исследование харак-

тера господина Прохарчина обнаруживает те крайние пределы, те Геркулесовы столпы духовного убожества, до которых доводит человека совершенное подчинение власти денег. Разве мало поэзии в его мысли представить в образе господина Прохарчина весь современный мир, поклоняющийся денежному мешку? Нет, все дело, конечно, в том, что Прохарчин обрисован не довольно подробно, решительно и смело. Надо отбросить всякую робость, ни на кого не оглядываясь, высказаться полно и свободно, довериться своему вдохновению — и тогда глубокие мысли, таящиеся в душе его, откроются всем, и прежде всего — Белинскому.

Недавние радужные планы пришлось перечеркнуть одним махом.

«...Все мои планы рухнули и уничтожились сами собою. Издание не состоится. Ибо не состоялось ни одной из тех повестей, о которых я тебе говорил. Я не пишу и «Сбритых бакенбард». Я все бросил; ибо все это есть ничто иное, как повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу. Когда я дописал «Сбритые бакенбарды» до конца, все это представилось мне само собою. В моем положении однообразие гибель. Я пишу другую повесть и работа идет как некогда в «Бедных людях» свежо, легко и успешно».

Камни Вечного города, зеленые холмы Монмартра остались где-то в недоступной дали. А перед ним на столе лежал только что начатый роман «Неточка Незванова», первую часть которого он обязался представить Краевскому через десять недель, к 5 января 1847 года.

## «Так велики благодеяния ассоциации!»

Осенью, вскоре после возвращения из Ревеля, Достоевский писал Михаилу: «Я обедаю в складчине. У Бекетовых собралось шесть человек знакомых, в том числе я и Григорович. Каждый дает 15 коп. серебром в день, и мы имеем хороших чистых кушаний за обедом два и довольны».

Речь шла о братьях Бекетовых. Старший — Алексей — был тот самый Бекетов, с которым Достоевский дружил еще в училище. Второй — Николай — учился на естественном факультете Петербургского университета.

Добрые, умные, гостеприимные братья Бекетовы влекли к себе людей. Тянуло к ним и Достоевского. Иной раз, придя к Бекетовым обедать, Федор Михайлович оставался у них до вечера, когда дом напол-

нялся молодежью. Завсегдатаями были молодой поэт Плещеев, доктор Яновский, студент Ханыков и многие другие. Порою в небольшой квартире собиралось человек десять, а то и пятнадцать. Кому не хватало места на стульях и на диване, сидели прямо на полу, на ковре. Густой табачный дым полосами плавал в воздухе.

Разговор шел то вполголоса по углам, то становился общим, и тогда вниманием присутствующих завладевал изящно одетый юноша, чьи усы и пышные бакенбарды не столько скрывали, сколько подчеркивали его молодость. Он говорил негромко, но уверенный, а порою и страстный тон его суждений заставляли прислушиваться. Нетрудно было заметить, что товарищи поглядывали на него уважительно, безусловно признавая его авторитет и права наставника.

Валериан Майков — так звали юношу — был сыном известного в Петербурге художника. Отец, сам человек просвещенный и к тому же состоятельный, постарался дать детям наилучшее воспитание. Девятнадцати лет Валериан Николаевич окончил юридический факультет Петербургского университета. Путешествовал по Германии, Италии, Франции. Слушал лекции в Сорбонне. Его блестящий и оригинальный ум более всего занимали насущные проблемы века. Он стремился к научному их разрешению. Изучал историю, политическую экономию, философию. Еще студентом написал исследование «Об отношении производительности к распределению богатства», по возвращении из-за границы начал обширный трактат «Общественные науки в России». Он находил время и для занятий химией и агрономией. Перевел с немецкого «Письма о химии» Либиха.

Но страстью его было искусство. Имея высокое понятие о роли художника в жизни людей, молодой ученый разрабатывал новую эстетическую теорию. Он стремился поставить изучение искусства в ряд положительных, экспериментальных наук. Блестящий ум и критический талант Майкова были уже известны в литературном мире. Когда в начале 1846 года Белинский ушел из «Отечественных записок», острый нюх Краевского учуял в Майкове подходящую замену. А Валериан Николаевич, согласившись возглавить критический отдел журнала, говорил друзьям:

— Я никогда не думал быть критиком в смысле оценщика литературных произведений. Я всегда мечтал о карьере ученого и до сих пор нимало не отказался от этой мечты. Но как добиться того, чтобы публика читала ученые сочинения? Я вижу в критике единственное средство заманить ее в сети науки.

И писал, и говорил Майков увлекательно. Мало-помалу вокруг него сгруппировался кружок молодых литераторов и ученых. Собирались то в редакции «Отечественных записок», то на квартире Майковых, но чаще всего — попросту, по-студенчески — сходились у гостеприим-



Первая линия Васильевского острова, угол Большого проспекта.
*Литография К. Беггрова, 20-е годы XIX в.*

ных Бекетовых. Здесь можно было говорить без стеснения, рассуждать и спорить до хрипоты.

— Ни энергия, ни благость, ни любовь, ни дружба не обеспечивают человека от бедствий! — решительно восклицал Майков. — Ничто не может служить ручательством за последующие его поступки, за то, что когда-нибудь он не окажется самым злостным, самым возмутительным человеком, что в нем не отразятся в увеличенном виде все злодеяния, от которых некогда пострадал он сам. Эта мысль важна именно потому, что она доказывает непрочность личных, индивидуальных добродетелей и ведет прямо к тому убеждению, что закон добродетели и обеспеченности человека заключается в организации общества!..

Достоевский уже слышал сходную мысль от Белинского: сперва накормите голодного, а потом уже спрашивайте с него добродетели. Но как накормить всех? Как избавить человека от страха необеспеченности? Майков излагал и толковал теории французских, английских и

немецких социалистов. Все они считали главным злом современного общества частную собственность, разделяющую людей, рождающую жестокость и ненависть. Шарль Фурье, например, проповедовал соединение бедняков в ассоциации, фаланги, где все бы трудились сообща, по-братски делили плоды своих трудов и жили бы вместе, в обширном и великолепном, как дворец, здании — фаланстере. Новое устройство общества должно было обеспечить всеобщее благоденствие, исправить нравы. Гармония в человеческих отношениях, постепенно распространяясь, отразилась бы и в природе и даже в самом космосе... Другой мечтатель, Этьен Кабэ, собирал средства, чтобы купить в Северной Америке землю. Он задумал переселить туда сотни французских рабочих и организовать по собственному плану социалистическую колонию «Икария». Замысел историка и публициста Луи Блана был скромнее — он требовал для облегчения положения рабочих основать в Париже первые государственные предприятия — Национальные мастерские...

На сходках у Бекетовых с такой горячностью говорили о будущем человечества, точно от немедленного выяснения его грядущей судьбы зависела и участь каждого из присутствующих. В спорах рождались и сталкивались молодые дерзкие мнения. «О чем бы ни шла речь, — вспоминал через много лет Григорович, — касались ли событий в Петербурге, в России, за границей, обсуждался ли литературный или художественный вопрос, во всем чувствовался прилив свежих сил, живой нерв молодости, проявление светлой мысли, внезапно рожденной в увлечении разгоряченного мозга; везде слышался негодующий, благородный порыв против угнетения и несправедливости».

В кружке часто повторяли только что написанные двадцатилетним Алексеем Плещеевым стихи:

Вперед, без страха и сомненья!
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!..

Григорович, проведший это лето в родительском имении, принес к Бекетовым написанную им в деревне повесть. Она так и называлась — «Деревня». Как прежде в «физиологическом» очерке о шарманщиках, Григорович в своей повести подробно и без прикрас рассказал о том, что увидел своими глазами. Мрачным и щемящим получился рассказ. Когда он прочел «Деревню» в кружке, восторг был общим. Майков торжественно взял у него рукопись, пообещав напечатать в «Отечественных записках». «Григорович написал удивительно-хорошенькую повесть, стараниями моими и Майкова, который, между прочим, хочет писать обо мне большую статью к 1-му января», — рассказывал Достоевский брату.



Дом по Большому проспекту Васильевского острова 4/19.
*Фотография.*

Статья Майкова вскоре явилась. Это был обзор всей русской литературы за 1846 год, но добрую половину его занял разбор сочинений Федора Достоевского. Майков не побоялся прямо сопоставить талант Достоевского с талантом Гоголя. «. . . Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский — по преимуществу психологический, — утверждал он. — . . . Собрание сочинений Гоголя можно решительно назвать художественной статистикой России. У г. Достоевского также встречаются поразительно-художественные изображения общества, но они составляют у него фон картины и обозначаются большею частию такими штрихами, что совершенно поглощаются огромностью психологического интереса. . .» Критик восторженно оценил первый роман Достоевского, но едва ли не еще выше ставил второй. «Двойник» имел гораздо меньше успеха, чем «Бедные люди», — писал Майков, — что, по нашему мнению, еще менее говорит в пользу успехов всего нового. В «Двойнике» манера г. Достоевского и любовь его к психологическому анализу выразились во всей полноте и оригинальности. В этом произведении он так глубоко проник в человеческую душу, так бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную машинацию человеческих чувств,

мыслей и дел, что впечатление, производимое чтением «Двойника», можно сравнить только с впечатлением любознательного человека, проникающего в химический состав материи... Впрочем, если нам скучно было читать «Двойника», несмотря на невозможность не сочувствовать созданию Голядкина, то в этом все-таки нет ничего удивительного: анализ не всякому сносен; давно ли анализ Лермонтова многим колол глаза, давно ли в поэзии Пушкина видели какое-то нестерпимое начало?»



В. Н. Майков.
*Рисунок Н. Майкова. 40-е годы XIX в.*

Упоминал Майков и о «Господине Прохарчине». Предположив, что Достоевский не развернул вполне мысль рассказа потому, что испугался новых обвинений в растянутости, критик посоветовал автору больше доверять силе своего таланта.

Сам Валериан Николаевич ни минуты не сомневался, что талант Достоевского огромен. В смелом писателе-психологе он видел выразителя стремлений всего молодого поколения, к которому и сам принадлежал. По убеждению Майкова, людям 40-х годов XIX века выпало на долю открыть и в науке, и в искусстве новые пути, новые способы небывало глубокого, всестороннего и вместе аналитического исследования жизни. И первым из русских писателей на эту дорогу вступил именно автор «Бедных людей» и «Двойника».

Глазами Майкова смотрела на Достоевского и вся молодежь, сходившаяся у Бекетовых. У Бекетовых ему легко прощали неровности характера. Более того, многие в кружке сумели понять и даже полюбить в нем и самые странности его натуры — столь порывистой, чуткой к добру и как-то по-детски беззащитной перед окружающим злом. «Брат, — писал Достоевский в Ревель, — я возрождаюсь, не только нравственно, но и физически. Никогда не было во мне столько обилия и ясности, столько ровности в характере, столько здоровья физического. Я много обязан в этом деле моим добрым друзьям Бекетовым, Залюбецкому и другим, с которыми я живу; это люди дельные, умные, с превосходным сердцем, с благородством, с характером. Они меня вылечили своим обществом. Наконец, я предложил жить вместе. Нашлась квартира большая, и все издержки, по всем частям хозяйства,

все не превышает 1200 руб. ассигнациями с человека в год. Так велики благодеяния ассоциации! У меня своя комната и я работаю по целым дням. Адрес мой новый, куда прошу адресовать ко мне: на Васильевском острове, в 1-й линии, у Большого проспекта, в доме Солошича, № 26, против лютеранской церкви».

Они сняли вместе большую квартиру, обзавелись общим хозяйством и устроили «ассоциацию».

«Ассоциация»... Как отрадно было писать это слово тому, кто так страстно мечтал о всеобщем благоденствии. В скромной квартире на Васильевском острове ему виделись ростки того нового, к чему призывали благороднейшие умы человечества.

## «Витязь горестной фигуры...»

Благодаря статье Майкова в «Отечественных записках» кое-кто теперь по-новому взглянул на Достоевского и, в особенности, на его «Двойника».

«О Голядкине я слышу исподтишка... такие слухи, что ужас. Иные прямо говорят, что это произведение *чудо* и не понято. Что ему страшная роль в будущем, что если б я написал одного Голядкина, то довольно с меня, и что для иных оно интереснее Дюмасовского интереса. Но вот самолюбие мое расхлесталось. Но брат! Как приятно быть понятым».

Увы, понимали его немногие. Не только в публике, но и в литературном кругу, среди недавних его приверженцев все настойчивее стали поговаривать, будто Достоевский исписался, будто таланта его хватило на один роман, да и тот Белинский чересчур уж превознес.

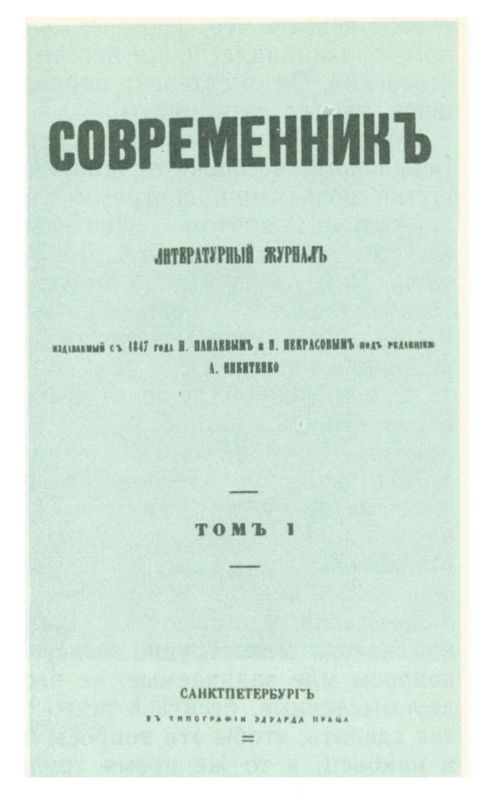
Суждения толпы его не задевали. Никогда он не ждал понимания от людей духовно чуждых. Но еще совсем недавно мог ли он думать, что заодно с ними окажутся и «свои», «наши» — Тургенев, Некрасов?..

С тех памятных первых дней их знакомства его дружеская привязанность к ним не изменилась. Напротив, первоначальное чувство, стремительно разрастаясь, стало увлечением, страстью. Он и не умел иначе: дружба ли, вражда ли — все у него было беспокойным, напряженным, накаленным до страсти. И, прилепившись всей душой к кружку Белинского, он при этом ревниво требовал взаимности, сочувствия. А они?..

Чем дальше, тем яснее обозначалось различие в художественных устремлениях Достоевского и других молодых писателей кружка. В его таланте постепенно открывалось что-то до странности резкое, неурав-

новешенное, нестерпимо пронзительное, что у одних вызывало недоумение, у других — насмешливую улыбку. А ему нужно было понимание. Конечно, если бы не эта его настойчивая, ревнивая требовательность к людям, если бы не это его неумение довольствоваться ровными, равнодушно-вежливыми отношениями, они могли бы отдалиться друг от друга без неприятных столкновений, без ссоры. Но, на свою же беду, он никогда, ни в чем не умел держаться этой спасительной, благоразумной «золотой середины».

А тут еще его неудача со «Сбритыми бакенбардами». Ведь он уже давно говорил Белинскому, что вот-вот кончает повесть. Теперь, когда он сжег оконченную работу, надо было объясниться, оправдаться, рассказать все. Но до этого не допускала гордость. «Достоевский Краевскому повесть дал, а Вам неизвестно когда и кончит ли», — уведомлял Некрасов бывшего в отъезде Белинского. Действительно, выходило, что слово, данное Краевскому, он держит, а друзей обманывает.


СОВРЕМЕННИКЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

издаваемый съ 1847 года И. ПАНАЕВЫМЪ и Н. НЕКРАСОВЫМЪ подъ редакціею А. НИКИТЕНКО

ТОМЪ I

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА

Журнал «Современник», т. 1, 1847 г.
*Титульный лист.*

И чем обиднее и больнее было ему от неосновательных подозрений, тем независимее и резче вел он себя на людях. Если поначалу в среде литераторов он держался робко, забирался куда-нибудь в угол и большею частью молчал, то теперь он явился отчаянным спорщиком, не оставлял без возражения ни одной неверной, по его мнению, мысли, нападал решительно и запальчиво. И те самые люди, что еще недавно восхищались им, теперь стали над ним подсмеиваться. Его раздражительность казалась следствием непомерного и не очень-то обоснованного самомнения.

Как-то у Панаевых, в присутствии Достоевского, Тургенев принялся юмористически описывать якобы встретившуюся ему в провинции странную фигуру. То был некий доморощенный гений, возомнивший

о себе невесть что. Тургенев очень забавно изображал самовлюбленного провинциала, и все весело хохотали. Не смеялся один лишь Достоевский. Он смертельно побледнел, поднялся и, ни с кем не простившись, вышел из комнаты...

Молодые, талантливые, остроумные люди, составлявшие кружок Белинского, не очень-то щадили самолюбие друг друга. В ходу были шутки, розыгрыши, эпиграммы, насмешки над слабостями и промахами приятелей. И притом — язвительные. Но никто не принимал это близко к сердцу. Иное дело — он, Достоевский. Проглотить насмешку? Смолчать? Нет, ни за что! Ответить столь же забавно и едко? Для этого требовалось то душевное равновесие, та веселая снисходительность к себе и к другим, которыми он никогда не обладал. И он вскипал раздражением.

Столкнувшись где-то с Тургеневым, Достоевский наговорил ему дерзостей. Заявил напрямик, что всем им, молодым писателям, до него далеко, что — дай только время! — он всех их заткнет за пояс.

Однажды бурная сцена разразилась в доме Майковых, где бывали и литераторы из кружка Белинского. «Спешу извиниться перед Вами,— писал на следующий день Достоевский хозяйке дома Евгении Петровне Майковой, — я чувствую, что оставил Вас вчера так сгоряча, что вышло неприлично, даже не откланявшись Вам, и только после Вашего оклика вспомнив об этом... Вы поймете меня. Мне уже по слабонервной натуре моей трудно выдерживать и отвечать на двусмысленные вопросы мне задаваемые, не беситься именно за то, что эти вопросы двусмысленные, беситься всего более на себя за то, что сам не умел так сделать, чтобы эти вопросы были прямые и не такие нетерпеливые; и наконец, в то же время трудно мне (сознаюсь в этом) сохранить хладнокровие, видя перед собой большинство, которое, как вспоминаю я, действовало против меня с таким же точно нетерпением, с каким и я действовал против него. Само собой разумеется, вышла суматоха, с обеих сторон полетели гиперболы, сознательные и наивные, и я инстинктивно обратился в бегство, боясь чтоб эти гиперболы не приняли еще больших размеров...»

Мысленно споря с недавними друзьями, он видел себя таким хладнокровным, таким изысканно вежливым, таким убийственно логичным. Но это было в мечтах. А в действительности... В действительности, споря, он не помнил себя, терял всякое самообладание, пускал в ход «гиперболы», задевал личности. И в ответ получал все новые насмешки, еще более колкие, еще более язвительные.

Так, Тургенев сочинил стихотворение, где от имени Макара Девушкина благодарил автора «Бедных людей» за то, что тот оповестил Россию о его, Девушкина, существовании. В стихотворении часто повторялось излюбленное словцо Девушкина — «маточка». Вдвоем с Не-



Дом по набережной реки Фонтанки, 19, угол улицы Ракова, где помещалась редакция журнала «Современник».
*Фотография*

красовым Тургенев написал стихотворное «Послание» к Достоевскому от лица Белинского. Начиналось оно словами:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ...

Первое определение означало Рыцаря печального образа, то есть Дон Кихота, второе произведено было от слова «напыщенный», то есть надутый, много о себе возомнивший.

Стараньями доброжелателей злое «Послание» достигло ушей адресата. Достоевский пришел в бешенство: у него за спиною распространяют какие-то пасквили, над ним издеваются, его хотят унизить, изобразить смешным и жалким. И (это играло немаловажную роль) он знал, что над ним потешаются в присутствии «ее» — Авдотьи Яковлевны, в ее доме, в ее гостиной...

Припомнив все обиды, еще больше распалив себя, он отправился к Некрасову требовать объяснений.

С недавних пор Некрасов с Панаевым, начав вместе издавать «Современник», поселились в одной большой квартире на Фонтанке, угол Итальянской, в доме Урусовой. Туда-то и шагал торопливо Достоевский.

В гостиной его встретила Авдотья Яковлевна — как всегда красивая, как всегда приветливая. Этой встречи он боялся и втайне желал.

С трудом сдерживая волнение, прерывающимся голосом он сказал, что пришел переговорить с Некрасовым. Авдотья Яковлевна проводила его в кабинет. Сидя в соседней комнате, она слышала громкие голоса, доносившиеся из кабинета: гость и хозяин страшно горячились.

Когда Достоевский выскочил в прихожую, он никак не мог попасть в рукава пальто, которое держал лакей. Наконец, он вырвал пальто из рук лакея и выбежал на лестницу.

«Скажу тебе, что я имел неприятность окончательно поссориться с «Современником» в лице Некрасова, — исповедовался Федор Михайлович брату. — . . . Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому, затем, что Майков хвалит меня. . . Между тем, Краевский, обрадовавшись случаю, дал мне денег и обещал сверх того уплатить за меня все долги к 15 декабря».

Впрочем, несмотря на ссору с издателями «Современника», Достоевский продолжал бывать у Белинского. «Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный». Но и у Белинского бывал он теперь много реже.

## «Я завел процесс со всею нашею литературою. . .»

На Невском проспекте против Знаменской церкви шла постройка вокзала Николаевской железной дороги, которая должна была соединить Петербург и Москву. Как-то раз, проходя по Знаменской площади, Достоевский увидел Белинского. Больной, исхудавший — его съедала чахотка, — тот стоял, задумчиво глядя на поднимавшиеся за высоким забором строительные леса.

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка, — объяснил Белинский. — Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце! . .

Над безмолвными полями России паровозный свисток должен был



Лиговский канал у Николаевского вокзала.
*Литография. Середина XIX в.*

прозвучать как предвестник пробуждения, как надежда на близкие перемены. В самом деле, развитие промышленности, торговли, приобщение к европейской цивилизации — все это подрывало корни крепостничества. Потому-то с такой отрадой и смотрел Белинский на грязный забор и подымавшееся за ним здание.

Конечно, царившие в стране страшные порядки не могли быть вечны. Но сокрушить бы их поскорей — Белинский мечтал об этом денно и нощно. Он часто грустил. «. . . Но грусть эта была особого рода, — рассказывал Достоевский, — не от сомнений, не от разочарований, о, нет, — а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России». Каждой своей статьей, каждым словом, выходившим из-под его пера, стремился великий критик будить мысль, совесть отупленных жизнью людей. Изо всех сил торопил он будущее. И того же самого требовал от всех пишущих.

«На Руси, по самой сущности народа русского, — говорил Белинский, — хороших людей должно быть гораздо больше, нежели как думают даже славянофилы, но вот горе-то: литература все-таки не может

воспользоваться этими хорошими людьми, не входя в идеализацию, риторику и мелодраму, то есть, не может представлять их художественно такими, как они есть на самом деле, по той простой причине, что их тогда не пропустит цензурная таможня. А почему? Потому именно, что в них человеческое в прямом противоречии с той общественной средой, в которой они живут!»

Достоевский соглашался: конечно, по цензурным условиям нельзя изобразить благородную личность в прямом столкновении с жизнью. Но следует ли из этого, что писателю надо вовсе отказаться от создания прекрасных характеров? Ведь так часто это неизбежное столкновение хорошего человека с действительностью происходит в области чувств, переживаний, и все события, вся трагическая борьба развертываются в душе героя, не задевая прямо охраняемых полицией и цензорами устоев. Разумеется, литература должна постичь и отразить общественные связи, но разве менее важно отыскать законы жизни сокровенной, внутренней? Современная литература старается понять человека, анатомируя общество. А он, Федор Достоевский, стремится понять нынешнее состояние общества, анализируя природу человека.

Белинский строго качал головой.

— Положим, вы не хотите идти избитой дорогой, но смотрите — даже и большой талант рискует в бесплодных попытках истощиться, когда пробует подняться не по силам.

После «Двойника» и особенно после «Прохарчина» Белинскому казалось, что Достоевский сбился с пути. Наслушался безудержных похвал и вообразил своей обязанностью непременно сказать небывалое, новое слово в литературе. Лезет из кожи вон, вместо того, чтобы продолжать так же просто и естественно, как начал в «Бедных людях».

«Когда Белинскому передавали, — вспоминала Авдотья Яковлевна Панаева, — что Достоевский считает себя уже гением, то он пожимал плечами и с грустью говорил:

— Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того, чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдет вперед...»

Белинский пытался наставить молодого писателя, указать ему верную стезю. Но Достоевский, как всегда, ревниво оберегал свою самостоятельность. Он твердо верил, что и в самом деле призван открыть людям глаза на такие стороны человеческой натуры, о которых никто до него и не помышлял, что призван совершить переворот в русской литературе. На меньшее он теперь никак не мог согласиться.

Между тем в своем нетерпеливом желании увидеть, наконец, пробуждающуюся Россию, Белинский полагал святым долгом всякого честного писателя по мере сил помогать продвижению русского общества на великом пути самосознания. Единственным направлением лите-



Весна на петербургской улице.
*Картина Н. Ульянова. Середина XIX в.*

ратуры, прямо и необходимо ведущим к этой цели, Белинский считал резко критическое, обличительное направление. С обидою, с болью в сердце наблюдал он за тем, как автор «первого на Руси социального романа» теперь как будто забавлялся, тешился своим тонким искусством психолога и ни о чем другом не желал думать, как только об этих полюбившихся ему исследованиях глубин человеческой души. Действительно, в ту минуту нелегко было предугадать, что эти рискованные на первый взгляд эксперименты молодого писателя со временем обернутся той самой разящей истиной, тем самым будоражащим влиянием на общество, в котором и сам Белинский видел высший смысл и великую силу литературы.

Критика обуревало благородное нетерпение. Молодой писатель был резок и самоуверен.

День ото дня им становилось все труднее понимать друг друга. Казавшееся прежде случайным разномыслие теперь неудержимо

ширилось. Они уже не сходились и в том, в чем недавно еще были согласны, единодушны. Достоевский обрушивался даже на самое «обличительное направление», которое недавно еще горячо защищал.

«Я именно возражал ему, — вспоминал Достоевский, — что желчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому... Белинский рассердился на меня и, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре...»

Больше они не виделись.

Тургенев, Некрасов, а теперь и Белинский...

Но он им докажет, во что бы то ни стало докажет не на словах, а на деле, чего он стоит. И, в предвкушении этого, Достоевский писал брату: «Мне все кажется, что я завел процесс со всею нашею литературою, журналами и критиками, и тремя частями романа моего в «Отечественных записках» и устанавливаю и за этот год мое первенство...»

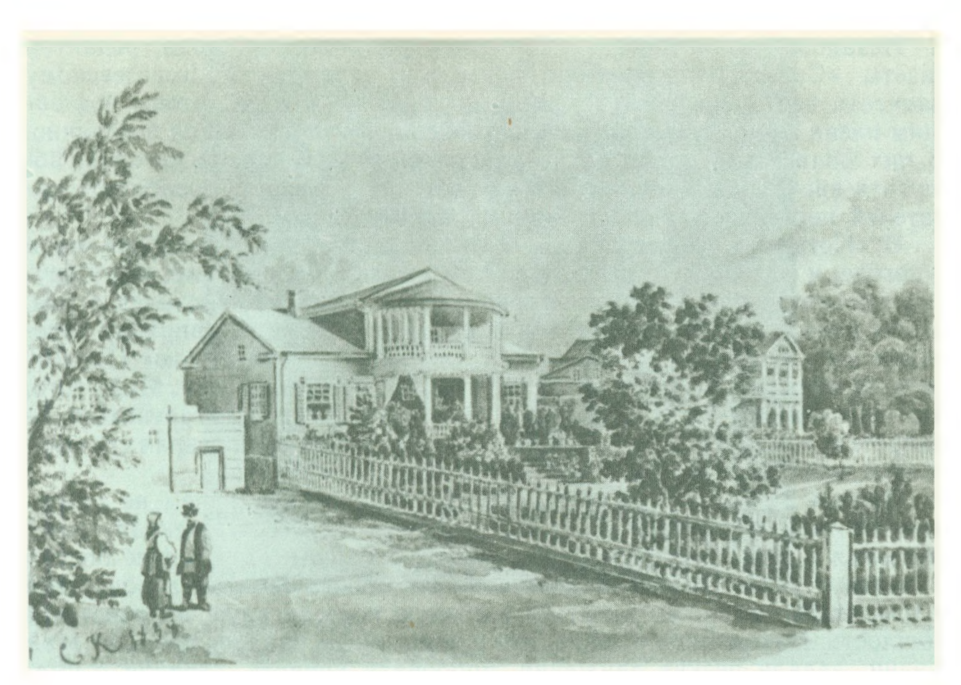
## «Знаете ли, что такое мечтатель, господа!»

План и форму своего нового, третьего романа Достоевский обдумывал не торопясь, любовно и тщательно.

Между прочим, долго приискивал он имя для главной героини, пока как-то раз Костя Трутовский не поведал ему о своем увлечении молодой и прелестной девушкой, которую в семье ласково звали Неточкой. Милое, легкое это имя тотчас запало в память и скоро Достоевскому представлялось, что его героиню и невозможно было назвать никак иначе, как только так — Неточкой.

«Я теперь завален работою, — рассказывал он Михаилу в декабре 1846 года, — и к 5-му числу генваря обязался поставить Краевскому 1-ю часть романа *«Неточка Незванова»*, о публикации которой ты уже, верно, прочел в «Отечественных записках»... Итак, брат, я не поеду за границу ни нынешнюю зиму, ни лето, а приеду опять к Вам, в Ревель. Я сам с нетерпением жду лета... Я плачу все долги мои посредством Краевского. Вся задача моя заработать ему все в зиму и быть ни копейки не должным на лето».

Но роман подвигался вперед куда медленнее, чем рассчитывал автор. Написав первые главы, он стал их переделывать. Приступил к «Неточке Незвановой» с увлечением, с радостью, как некогда к «Бедным людям». И ни за что не хотел испортить дело торопливостью, оглядкою на свой пустой карман. Он объявил Краевскому, что первая часть романа в январе не будет готова. Зато он даст в «Отечественные записки» небольшую повесть.



Дача под Петербургом.
*Рисунок К. Кольмана. 30-е годы XIX в.*

Теперь он опять писал две вещи одновременно. Мечтал обе окончить к лету. И снова не успел, не рассчитал, не закончил ни одной. Из долга Краевскому не вылез — напротив, увяз еще глубже. Ехать в Ревель было решительно не с чем, и он остался в Петербурге. «Июнь месяц, жара, город пуст: все на даче и живут впечатлениями, наслаждаются природою. Есть что-то неизъяснимо наивное, даже что-то трогательное в нашей петербургской природе, когда она, как будто неожиданно, вдруг, выкажет всю мощь свою, все свои силы, оденется зеленью, опушится, разрядится, упестрится цветами...»

Лето Достоевский коротал на даче в Парголове. Сюда, в окрестности города, перебирался из душного Петербурга разночинный люд: чиновники, актеры, врачи, ученые немцы. В маленьких и не слишком опрятных домиках, а порою и просто в снятой на лето мужицкой избе судачили о соседях, пили чай, сражались в преферанс или забавлялись, глядя на местного парголовского пьянчужку, предлагавшего для удовольствия публики «посечься» за деньги.

Незадолго до переезда в Парголово, весною 1847 года, редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» предложил Достоевскому написать несколько воскресных фельетонов. Такие фельетоны под общим названием «Петербургская летопись» газета помещала постоянно. В них полагалось подтрунить над дурной петербургской погодой, пошутить насчет бесконечных причуд светских модников, позабавить читателей пересказом мелких уличных происшествий.

В «Петербургской хронике» Федора Достоевского было кое-что и о погоде, и о происшествиях, но совсем не так мило и весело, как у других фельетонистов. По правде говоря, он нимало не заботился о том, чтобы развлечь публику. На уме имел другое. «Будто и вправду переехали мы на дачи, чтоб отдыхать и наслаждаться природою? Посмотрите-ка прежде чего-чего не вывезли мы с собой за заставу. Мало того, что не отставили, хоть за выслугу лет, ничего зимнего, старенького, — напротив, пополнили новым. Живем воспоминаниями, и старая сплетня, старое житейское дельце идет за новое».

Летняя дачная жизнь петербургских обывателей ничем не рознилась от зимней, городской: та же скука, та же бессмысленная, однообразная суета. Увы, большинство погружалось в это стоячее болото с полным равнодушием и даже охотно, даже находя удовольствие в том, чтобы поглубже зарыться в липкую повседневную мелочность и пошлость. Находились и такие, что с омерзением рвались прочь от этой жизни, делали резкие движения, пробовали кричать, сходили с ума. Были и третьи...

«...В характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностью, и человек делается, наконец, не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — *мечтателем*. А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, — и мы говорим это вовсе не в шутку. Вы иногда встречаете человека рассеянного, с неопределенно-тусклым взглядом, часто с бледным, измятым лицом, всегда как будто занятого чем-то ужасно-тягостным, каким-то головоломнейшим делом, иногда измученного, утомленного как будто от тяжких трудов, но, в сущности, не производящего ровно ничего — таков бывает мечтатель снаружи».

Так писал Достоевский в одном из воскресных своих фельетонов. Нет, он не развлекал публику. Он писал о том, чем заняты были теперь его мысли. Новый, не похожий на прежних герой явственно вырисовывался в его воображении. Герой этот решительно отличался и от незамысловатого, кроткого Макара Девушкина, и от ничтожного Голяд-



Старик у окна.
*Рисунок П. Федотова. 40-е годы XIX в.*

кина с бурей мелких страстей в душе. Это был иной герой — мечтатель, петербургский мечтатель...

Именно здесь, в столице империи, среди бесчисленных департаментов, согбенных, корпеющих над бумагами чиновников, барабанного боя, гремящих плац-парадов, томительной серой повседневности и фантастических белых ночей родился этот странный характер — петербургский мечтатель. Он жаждет деятельности, жаждет подлинной жизни, а Петербург ему подсовывает казармы и департаменты. И мечтатель бежит от них. Бежит в свой мир, который создает в своем пылком воображении. Он придает окружающему причудливые очертания, он чувствует глубоко и страстно, живет напряженной внутренней жизнью. Там его мир, его радости и горести, геройские подвиги, благороднейшие поступки. Странная, лихорадочная, обжигающая душу жизнь... Для добропорядочных, практичных, смирных петербургских обывателей мечтатель — белая ворона, существо непонятное, чуждое, неудобоваримое.

«Мечтатель всегда тяжел, потому что неровен до крайности: то слишком весел, то слишком угрюм, то грубиян, то внимателен и нежен, то эгоист, то способен к благороднейшим чувствам. В службу эти



Уголок старого Петербурга.
*Фотография.*

господа решительно не годятся, и хоть и служат, но все-таки ни к чему не способны и только *тянут* дело свое, которое, в сущности, почти хуже безделья... Селятся они большею частию в глубоком уединении, по неприступным углам, как будто таясь в них от людей и от света... И только одного и просят у судьбы: покоя, тихого угла-пристанища, где можно было бы свободно, беспрепятственно мечтать. И как упоенно, как восторженно грезят они на яву».

Такое-то странное, причудливое и вместе очень обыкновенное лицо — петербургского мечтателя — и выбрал Достоевский в герои своей повести «Хозяйка».

Молодой ученый Василий Ордынов, запершись, как в монастырской келье, в своем бедном углу, вот уже несколько лет размышляет над какой-то новой, необыкновенно глубокой и светлой системой идей.

Совершенно случайное обстоятельство — необходимость сменить квартиру — неожиданно вытолкнуло Ордынова из тишины его сумрачного уединения в сутолоку шумного, гремящего, вечно волнующегося и кипящего петербургского дня. Все чувства Ордынова, болезненно изощрившиеся от долгого одиночества и напряжения мечтательной жизни, теперь внезапно обратились к новым для него предметам. И незащищенными, точно бы оголенными своими нервами ощутил Ордынов в толчее будничной столичной жизни некую сокровенную тайную ее боль. Наивной, младенческой душе мечтателя дано слышать то, к чему глухи привычные, притупившиеся чувства всех этих занятых, деловых, практических людей.

Какое-то непонятное ему самому, но неодолимое влечение ведет Ордынова в дальний, окраинный захолустный конец Петербурга, где нет уже богатых домов, а все одни ветхие избенки, уродливые здания фабрик — почерневшие, красные, с длинными трубами — да дощатые серые и желтые заборы вдоль каких-то пустырей. Здесь, на окраине, точно бы сталкивается этот отстроенный на европейский манер город, этот гранитный Петербург с далекою, непонятною, чужой ему русской деревней, как будто столкнулись друг с другом в споре книжная мудрость, все объясняющая наука Ордынова и тоскливая, удалая, прекрасная, дикая степная песня. . .

Причудливо, почти фантастически переплетается жизнь молодого ученого с судьбою воровского атамана и чернокнижника, «колдуна» Ильи Мурина и зачарованной красавицы Катерины, чье слабое сердце безвольно покорилось дерзкой и властной душе старика. Со странными, бредовыми грезами больного Ордынова мешаются горячие, исполненные песенной напевности и страсти речи Катерины. Герои повести — натуры недюжинные. Пусть круг их существования узок, но сами переживания, явные и затаенные, сами страсти их — огромны. Лихорадочно напряженные, сосредоточенные, они становятся как бы чем-то вещественным, осязаемым, наполняющим пространство наряду с обыкновенными, зримыми вещами. Недаром Ордынову в его кошмарных снах все представлялось, «как воплощалась, наконец, теперь, вокруг болезненного одра его, каждая мысль его, каждая бесплотная греза, воплощалась почти в миг зарождения; как, наконец, он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями. . .» Ордынову открылось, что люди живут в мире, где зримое течение вещей невидимо сталкивается с бурным и не менее упорным течением страстей. Узаконенный, пошлый порядок жизни — это, оказывается, фальшивый лик, личина. Подлинное лицо жизни являет себя миру открыто, смело лишь в цельных, страстных натурах.

Автор «Хозяйки» упорно наводил читателей на мысль, что нет на свете ничего странней, причудливей, фантастичней самой обыкновен-

ной, ежедневной, заурядной на первый взгляд действительности. Никто не замечает ее странности, но это лишь потому, что все успели присмотреться, привыкнуть, притерпеться к ней. Замечают только дети. И еще мечтатели...

## «Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением»

Знойным июльским днем, когда Достоевский сидел у себя в Паргалове за работой, из Петербурга пришло ужаснувшее его известие — умер Валериан Майков. После увеселительной прогулки под палящим солнцем искупался в холодном пруду и тут же умер. Врачи полагали: от апоплексического удара.

Достоевский не мог прийти в себя: разум отказывался вместить случившееся, все его чувства протестовали. Нелепо, несправедливо. Молодость, обаяние таланта, глубокий ум, который только еще начал обнаруживать свою силу, надежды, касающиеся целой России. Да позвольте! Неужто они блеснули лишь только для того, чтобы ничтожный случай оказался волен распорядиться всем этим так жестоко и глупо?!

Одиноким, потерянным в многолюдстве чувствовал себя Достоевский, возвращаясь с похорон Майкова. Порою настигавшее его одиночество с этого дня все чаще захлестывало душу. Только работой — непрерывной, злой, изнурительной — он и спасался.

И все чаще писал письма в Свеаборг, где по казенным делам обретался теперь Михаил. Все настойчивее, нетерпеливее торопил брата с приездом в Петербург.

И Михаил сдался. Решился наконец покончить с опостылевшей инженерной службой и перебраться в столицу. Но счел благоразумным сперва приехать одному, без семейства, а после уж, хорошенько устроившись, перевезти жену и детей.

Федор боялся, как бы брат не передумал, как бы его не отговорили благоразумные люди: «Ну уж, как хочешь с семейством, как сам лучше рассчитываешь, но ты, относительно себя самого, уж ни за что не изменяй своей диспозиции... Ты говоришь, что покачивают головами, а я тебе говорю не приходи в расстройство от этого. Пишешь, что и у меня первый блин комом. Но ведь это только теперь; погоди, брат, поправимся. А у нас ассоциация. Невозможно, чтоб мы оба не выбились на дорогу; вздор! Вспомни, какие люди покачивают головами!»

Михаил тоже верил в спасительную силу ассоциации, бескорыстной взаимопомощи и братской дружбы.

«Всего вероятнее, что я к тебе приеду без денег. Но я не унываю, —

писал он брату,—будем здоровы—не пропадем. Ассоциация есть дело великое и святое». Федор Михайлович обнадеживал: «Свое, что теперь получаешь, ты всегда получишь здесь, в Петербурге, да еще не такой тяжелой работой... Есть надежда, что работа, об которой я тебе писал прошлый раз, будет у тебя, если ты будешь в городе. Кроме того, есть одно издание к новому году, колоссальное, затеваемое с огромным капиталом, в котором тебе можно будет доставить много работы... Кроме того, можно будет достать переводов у Краевского или у Некрасова... Видишь ли, что значит ассоциация? Работай мы врозь — упадем, оробеем и обнищаем духом. А двое вместе для одной цели — тут другое дело. Тут бодрый человек, храбрость, любовь и вдвое больше сил...»

ХОЗЯЙКА.

*Повѣсть.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Ордыновъ рѣшился наконецъ перемѣнить квартиру. Хозяйка его, очень-бѣдная пожилая вдова и чиновница, у которой онъ нанималъ помѣщеніе, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ уѣхала изъ Петербурга куда-то въ глушь, къ родственникамъ, не дождавшись перваго числа—срока найма своего. Молодой человѣкъ, доживая срочное время, съ сожалѣніемъ думалъ о старомъ углѣ и досадовалъ на то, что приходилось оставить его: онъ былъ бѣденъ, а квартира была дорога. На другой же день послѣ отъѣзда хозяйки, онъ взялъ фуражку и пошелъ бродить по петербургскимъ переулкамъ, высматривая всѣ ярлычки, прибитые къ воротамъ домовъ, и выбирая домъ почернѣе, полюднѣе и *капитальнѣе*, въ которомъ всего удобнѣе было найдти требуемый уголъ у какихъ-нибудь бѣдныхъ жильцовъ.

Онъ уже долго искалъ, весьма-прилежно, но скоро новыя, почти-незнакомыя ощущенія посѣтили его. Сначала, разсѣянно и небрежно, потомъ со вниманіемъ, наконецъ съ сильнымъ любопытствомъ сталъ онъ смотрѣть кругомъ себя. Толпа и уличная жизнь, шумъ, движеніе, новость предметовъ, новость положенія—вся эта мелочная жизнь и обыдённая дребедень, такъ давно наскучившая дѣловому и занятому петербургскому человѣку, безплодно, но хлопотливо всю жизнь свою отъискивающему средствъ умириться, стихнуть и успокоиться гдѣ-нибудь въ тепломъ гнѣздѣ, добытомъ трудомъ, пóтомъ и разными другими средствами,—вся эта пошлая *проза* и скука возбудила въ немъ, напротивъ, какое-то тихо-радостное, свѣтлое ощущеніе. Блѣдныя щеки его стали покрываться легкимъ румянцемъ, глаза заблестѣли какъ-будто новой надеждой, и онъ съ жадностью, широко сталъ вдыхать въ себя холодный, свѣжій воздухъ. Ему сдѣлалось необыкновенно-легко.

«Хозяйка».

*Первая публикация в журнале «Отечественные записки».*

Даже брату он не писал об этом прямо, но твердо надеялся, что теперь, когда окончит «Хозяйку», вся жизнь пойдет по-иному. Успех повести восстановит его пошатнувшуюся было литературную репутацию, вместе с шумом журнальных споров вновь разнесет его имя по всей России, откроет дорогу «Неточке Незвановой», а там и давно задуманному изданию всех его сочинений.

И вот наконец в «Отечественных записках» появилась первая часть «Хозяйки», за нею вторая. Через некоторое время до Достоевского стороною стало доходить, что Белинский отзывается о его повести иронически. Неужто это правда? Но почему же? Почему? Самому ему «Хозяйка» представлялась вещью более значительной, чем даже «Бедные люди». В самом деле, исследование человеческих характеров, начатое им в первых романах, здесь получило новый оборот.

Но как вскоре выяснилось, Белинский действительно был крайне недоволен новой повестью Достоевского. «Не знаю, писал ли я Вам, — спрашивал Белинский Анненкова, того самого, которому не так давно в восторге декламировал отрывки из только что прочитанных «Бедных людей», — что Достоевский написал повесть «Хо-

зяйка» — ерунда страшная! .. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!»

И вот в «Современнике», в обзоре русской литературы за 1847 год черным по белому значилось о «Хозяйке»: «Будь под нею подписано какое-нибудь неизвестное имя, мы бы не сказали о ней ни слова... Не только мысль, даже смысл этой, должно быть, очень интересной повести остается и останется тайной для нашего разумения, пока автор не издаст необходимых пояснений и толкований на эту дивную загадку его причудливой фантазии. Что это такое — злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится идти обыкновенным путем и ищет себе какой-то небывалой дороги?» Так писал Белинский о новой повести Достоевского.

Достоевский листал другие журналы. Нет, ни один из них не выступил на защиту его «Хозяйки». А публика ее, казалось, и не заметила.

Как два года назад, после неудачи с «Двойником», так и ныне молодой писатель был подавлен, уничтожен. Непосильный труд и тяжелое разочарование потрясли весь организм. «Каждый мой неуспех производил во мне болезнь». Счастье, что теперь рядом находился Михаил. Всегдашнее спокойствие и трезвый взгляд брата действовали целительно. Михаил не утешал. Он просто предложил вместе перечитать и разобрать повесть. Они обсуждали и взвешивали каждую главу, каждую страницу. И Федор приободрился: в его «Хозяйке» есть немало истинного, живого, оригинального. Приоткрыты такие глубины человеческой души, в которые до него немногие отважились заглядывать. Станет ли он отказываться от своего собственного небывалого еще пути в литературе? Разумеется, нет. Но во многом правы и его критики — прежде всего, Белинский. Задумав исследовать обыкновенную, будничную жизнь, он выбрал для этого характеры исключительные и, главное, поставил их в положения случайные, необязательные. Стремясь передать высшее напряжение страстей, он невольно усилил яркость света и густоту теней, отчего в его героях проявилось вдруг что-то театральное, искусственное, «ходульное», как выразился Белинский. К тому же слишком много своих раздумий о судьбах России попытался вместить в одну небольшую повесть. Слишком нетерпеливо желал показать вчерашним своим поклонникам, что они торопятся хоронить его талант. И потерял чувство меры. Надо успокоиться, строже и точнее определить свою цель художника, надо писать яснее, проще, избегая всяких притязаний на значительность.

Как всегда, пережив первое потрясение, острую боль от неудачи, он успокоился, почувствовал бодрость и уверенность в себе. Еще один кризис миновал. Но как бы он пережил все это, не будь рядом Михаила? В эти недели они с Мих-Михом, как шутливо называл Федор брата, почти не разлучались, повсюду появлялись вместе — нервный,



На городской окраине.
*Акварель Ф. Баганца. 50-е годы XIX в.*

порывистый Федор, и степенный Михаил, отрастивший усы и бороду и обзаведшийся очками. Их братская «ассоциация» помогала выстоять и тому и другому. Михаил с радостью хватался за каждый подвернувшийся заработок — лишь бы получить несколько рублей. «Всего два слова, любимая Эмилия, — писал он жене в Ревель, — я устал чрезвычайно. Едва держу перо в руке. Сегодня утром зашел один знакомый и попросил меня сделать ему перевод к завтрашнему утру. Так как за это он обещал 9 рублей серебром, то я взялся за работу и просидел весь день... А к 7 часам мы должны были быть в опере, поскольку один знакомый снял ложу две недели назад и пригласил нас... В прошлую субботу ты, очевидно, получила от меня 25 рублей, сейчас я смогу послать тебе еще 15 рублей. Я получил из Москвы на днях 100 рублей серебром. Но весь месяц мы сидели без денег и задолжали 50 рублей. 25 я уплатил за месяц вперед за наем квартиры. 15 рублей я посылаю тебе и оставлю себе 10 рублей. Не беспокойся, милая детка: наше будущее представляется не столь страшным». Вскоре Михаил вызвал семью в Петербург, и они поселились неподалеку от Федора.

## «Великое горе свершилось...»

В конце 1847 года, в то время как в «Отечественных записках» появилась «Хозяйка», Достоевский выпустил отдельным изданием «Бедных людей».

В ближайшем номере «Современника» Белинский отозвался на появление этой книги коротенькой заметкой. «Бедные люди», — писал он, — доставили своему автору громкую известность, подали высокое понятие о его таланте и возбудили большие надежды — увы! — до сих пор не сбывшиеся. Это, однако ж, не мешает «Бедным людям» быть одним из замечательных произведений русской литературы».

О первом романе Достоевского критик своего мнения не изменил. Зато изменил мнение об его авторе. И быть может, больше всего на свете молодому писателю хотелось разубедить Белинского, привести к мысли, что он, Федор Достоевский, еще достигнет высот искусства. Следом за «Хозяйкой» в «Отечественных записках» появился рассказ «Чужая жена», тотчас же за рассказом — небольшая повесть «Слабое сердце». Здесь уж автор не позволял себе увлекаться фигурами исключительными, необыкновенными, фантастическими. Открытую им странность окружающей жизни он старался представить в картинах внешне обыденных, не гоняясь за эффектами. И с надеждой ждал, что скажет Белинский... Но критик молчал. Он точно бы не заметил ни рассказа, ни повести.

— Ничего, ничего, Виссарион Григорьевич, отмалчивайтесь, — не раз повторял Достоевский, сидя вечерами у доктора Яновского, — придет время — и вы заговорите!

Он писал теперь еще два новых рассказа, задумал повесть и заканчивал роман «Неточка Незванова». Он намерен был выиграть спор, затеянный им «со всей русской литературой, журналами и критиками», — прежде всего с Белинским. Он надеялся, что разочарование сменят новые восторги... И вдруг узнал: Белинский безнадежен, уже не встает. И еще: на квартиру к Белинскому явился жандарм из тайной полиции — III отделения. «Хозяин русской литературы», генерал Дубельт, требует критика к себе.

Образ мыслей Белинского давно уже раздражал и настораживал правительство, а теперь... Быть может, полиция перехватила один из списков его письма к Гоголю, что ходили в публике? Это было не частное письмо. Это было гневное обличение российских порядков и призыв их уничтожить.

От знакомства с генералом Дубельтом и, верно, от заключения в каземат Петропавловской крепости избавила Белинского смерть.



Белинский перед смертью.
*Картина А. Наумова. 1881 г.*

Майским вечером 1848 года Достоевский вбежал к доктору Яновскому.

— Батенька, великое горе свершилось, — сказал он задыхаясь, — Белинский умер.

Яновский никогда еще не видел своего пациента таким возбужденным, таким встревоженным, расстроенным. Попытался разговорить, успокоить, поднес капель — Достоевский твердил одно:

— Тоска... Сердце давит...

Внутри все было сжато, не хватало воздуха, трудно было дышать. Казалось, пространство комнаты и открывавшаяся за окном улица заполнены не воздухом, а чем-то иным — пустым, равнодушным, безжалостным сиянием белой ночи. Три года назад, такой же белой ночью, решалась его судьба. Радостные лица Некрасова и Григоровича, слова Некрасова: «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите — да ведь человек-то, человек-то какой!»

Та ночь была другая. Белинского больше нет.

Их последняя встреча, ссора, резкости, брошенные в лицо Виссариону Григорьевичу. Почему сожаления всегда опаздывают?

В памяти всплыли слова, оброненные как-то Белинским: «А вот как зароют в могилу, тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли».

И ведь правда, правда! Только в эти минуты Достоевский вполне почувствовал, чем был для него Белинский...

Доктор Яновский гостя не отпустил, оставил ночевать. В три часа ночи с Федором Михайловичем случился нервный припадок.

## Hotel de France [1]

Бывая по утрам в редакции «Отечественных записок», Достоевский время от времени встречал там молодого человека в поношенном, наглухо застегнутом сюртуке, с истертыми, порыжелыми пуговицами. Молодой человек держал себя в кабинете Краевского точно бедный проситель в прихожей знатного барина — жался в сторонке или, примостившись на самом краешке стула, неловко подогнув под себя ноги, сидел точно в рот воды набрал, ни словом не участвуя в общем разговоре. Глядя на его под гребенку остриженную голову, нечищеные сапоги и неловкую, напряженную позу, трудно было догадаться, что видишь перед собой известного уже в Петербурге писателя, чьи повести и рассказы с недавнего времени стали регулярно являться на страницах «Отечественных записок».

Яков Петрович Бутков — так звали молодого писателя — не любил рассказывать о себе. Постепенно, однако, любопытствующие узнали, что родом Бутков из мещан какого-то уездного городка Саратовской губернии. Нигде почти не учился — все свое образование, все воспитание получил из книг. С малолетства пристрастившись к чтению, он со временем и сам попробовал сочинять. С тетрадкою первых своих произведений отправился из родных волжских мест в Петербург. Путешествовал то в одиночку, то со случайными попутчиками; где шел пешком, где подвозили его на подводе. Явившись наконец в столицу, поселился в каком-то жалком углу, перебивался неведомо чем и по-прежнему мечтал об одном — о литературной карьере. Однажды, расхрабрившись, отнес в какую-то редакцию свой рассказ. Рассказ понравился. Его напечатали. Признали в молодом писателе-самоучке дарование. Перед саратовским мещанином открывалась столь заманчивая, столь желанная дорога в литературу.

Но тут просветлевшую было для Буткова будущность закрыли тем-

---

[1] Гостиница «Франция» *(франц.)*.



Дом А. А. Краевского на Литейном проспекте, где помещалась редакция журнала «Отечественные записки»
*Акварель Ф. Баганца. 50-е годы XIX в.*

ные тучи. Объявили рекрутский набор. Буткову, по мещанскому его званию и холостому положению, непременно должны были забрить лоб. Страшные дни пережил Яков Петрович, чуть руки на себя не наложил. Шутка сказать: двадцать пять лет солдатской службы... Однако же обошлось. От красной шапки избавил его не кто иной, как Андрей Александрович Краевский: купил ему рекрутскую квитанцию. Правда, говорили, что деньги Краевский дал не свои, получил их в благотворительном Обществе вспомоществования бедным. Тем не менее издатель «Отечественных записок» потребовал, чтоб Бутков отныне печатал все свои новые сочинения только в его журнале и из каждого гонорара отдавал определенную сумму в уплату долга.

Когда Буткова спрашивали, чем он бывает так стеснен в редакции журнала, Яков Петрович, оглянувшись назад, точно желая удостовериться, не подслушивает ли кто, пресерьезно отвечал:

– Нельзя-с... Начальство...

– Какое начальство?



«Ползунков», рассказ Ф. М. Достоевского.
*Гравюра Е. Бернардского по рисунку П. Федотова для «Иллюстрированного альманаха», 1848 г.*

— Литературные генералы... Маленьким людям надо это помнить.

— Что за пустяки! Какие генералы? Вы ни с кем там не говорите.

— При начальстве неловко-с. Я мелкота.

— Полноте, разве вы не такой же литератор, да еще даровитее многих!

— Что тут даровитость! Я ведь кабальный.

— С чего вы это взяли?

— Верно-с.

— Зачем же вы туда ходите, если вам это неприятно?

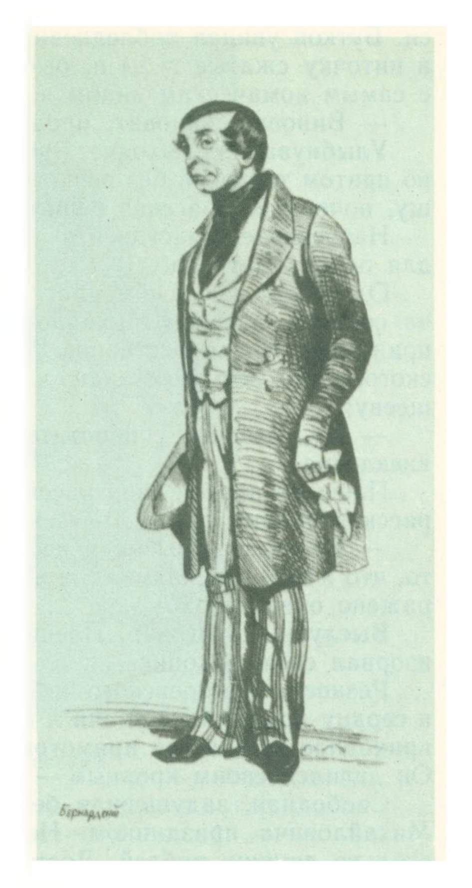
— Нельзя не явиться: к непочтению и строптивости нрава отнесут. Могут гневаться-с.

Бутков всей своей фигурою изображал смирение перед «начальством», но в голосе, в глазах его сквозила горькая усмешка. Его, мещанина, болезненно ранила та барская снисходительность, тот ласковый и чуть покровительственный тон, который литераторам из «благородных» казался вполне уместным в обращении с даровитым «мужичком». Оттого-то он дичился у Краевского, неохотно вступал в разговоры.

Но вот этот всегда угрюмый и бессловесный в литературном кругу Бутков легко и просто сошелся с Достоевским, как-то незаметно для

себя сдружился с ним. В характере, в таланте отставного инженер-поручика послышалась саратовскому мещанину столь близкая собственной его душе страстная боль за униженную, попранную человеческую личность. И Бутков, нелюдимый, дикий Бутков, стал часто и охотно появляться среди друзей Достоевского.

«Федор Михайлович очень любил общество, — рассказывал доктор Яновский, — или, лучше сказать, собрание молодежи, жаждущей какого-нибудь умственного развития, но в особенности он любил такое общество, где чувствовал себя как бы на кафедре, с которой мог проповедовать. С этими людьми Федор Михайлович любил беседовать, и так как он по таланту и даровитости, а также и по знаниям стоял неизмеримо выше многих из них, то он находил особенное удовольствие развивать их и следить за развитием талантов и литературной наметки этих молодых своих товарищей. Я не помню ни одного из известных мне товарищей Федора Михайловича (а я их знал почти всех), который не считал бы своею обязанностию прочесть ему свой литературный труд».



«Ползунков», рассказ
Ф. М. Достоевского.

*Гравюра Е. Бернардского по рисунку П. Федотова для «Иллюстрированного альманаха», 1848 г.*

Достоевский, чья бурная фантазия кипела все новыми творческими замыслами, щедро делился с друзьями-литераторами своими собственными сюжетами для рассказов и повестей.

Как-то раз на сюжет, предложенный Достоевским, написал рассказ Бутков. Читал он этот рассказ на квартире у Яновского. Перед чтением по своему обыкновению преуморительно откашливался, сморкался, подергивал плечом. Сочинил он что-то смешное, и слушатели весело хохотали, как вдруг Достоевский попросил автора остановить-

ся. Бутков увидел побледневшее от волнения лицо Достоевского, его в ниточку сжатые губы и, быстро сунув рукопись в карман сюртука, с самым комическим видом полез под стол, крича:

— Виноват, виноват, проштрафился, думал, что не так скверно!

Улыбнувшись выходке Буткова, Достоевский очень добродушно, но притом твердо и без всякого снисхождения стал объяснять товарищу, почему его рассказ решительно никуда не годится.

Непререкаемым судьей в литературных делах был Достоевский не для одного Буткова.

Однажды, как вспоминает доктор Яновский, у Федора Михайловича сошлись Михаил Михайлович, Бутков, Плещеев и еще несколько приятелей. Когда отставной унтер Евстафий, служивший у Достоевского, подал всем по стакану чая, Федор Михайлович обратился к Плещееву:

— Ну, батенька, прочтите нам, что вы там сделали из моего анекдотца.

Плещеев прочел свой рассказ, и было заметно, что самому автору рассказ нравится. Но Достоевский сурово покачал головой:

— Во-первых, вы меня не поняли и сочинили совсем другое, а не то, что я вам рассказывал, а во-вторых, и то, что сами придумали, выражено очень плохо.

Выслушав приговор, Плещеев не стал спорить и тут же при всех изорвал свою рукопись. . .

Резкость Достоевского не коробила. Он так горячо, так близко к сердцу принимал и удачи и промахи друзей, что никому в голову не приходило обижаться прямотою его суждений. Он не поучал, он учил. Он делился своим кровным — и делился с радостью.

Свободная, задушевная беседа в кругу друзей была для Федора Михайловича праздником. Нередко, когда удавалось выкроить несколько лишних рублей, Достоевский приглашал большую компанию приятелей отобедать в Hotel de France на Малой Морской. Устраивали складчину. Нередко Достоевский платил за кого-нибудь из тех, кто в тот момент сидел на мели. Впрочем, все бывало очень скромно. Обед, который Федор Михайлович заказывал всегда сам, обходился не более двух рублей с персоны. Из напитков допускались: рюмка водки, величиною с наперсток, перед обедом и по два бокала шампанского за едой. Сам Достоевский, боясь всего возбуждающего нервы, водки не пил, а шампанского наливал себе четверть бокала и прихлебывал его по маленькому глоточку после тостов и застольных речей, которые очень любил произносить и произносил с увлечением.

Объясняя свое пристрастие к ресторанной кухне, Федор Михайлович с улыбкою говорил:

— Весело на душе становится, когда видишь, что бедный проле-



Ф. М. Достоевский и А. А. Краевский.
*Карикатура Н. Степанова в «Иллюстрированном альманахе». 1848 г.*

тарий сидит себе в хорошей комнате, ест хороший обед и запивает даже шипучкою, и притом настоящею.

Однажды Достоевский в день выхода очередной книжки «Отечественных записок», где было напечатано новое его произведение, созвал друзей в ресторан.

К назначенному времени — трем часам пополудни — все собрались в зале. Пробило три, потом половину четвертого, но за стол отчего-то не садились и даже закуски не подавали. К устроителю обеда обратились недоуменные взоры, а затем вопросы.

— Ах, боже мой, — сконфуженно и вместе жалобно оправдывался Достоевский, — разве вы не видите, что Якова Петровича нет?

Он схватил шляпу и побежал на улицу. Через некоторое время воротился весьма взволнованный, ведя за собой Буткова. Вид у того

был виноватый. Он бормотал нечто, понятное одному только Достоевскому:

— Да вот пойди ты с ним и толкуй, говорит одно, что книжка журнала еще не вышла, да и баста.

— Ну да вы попросили бы хоть половину, понимаете ли, — волновался Достоевский, — ну, хоть чуточку бы, а то как же теперь быть? Я пообещал еще двоим заплатить за них. Ну вот вы и попросили бы хоть красненькую, а то как же теперь?

Оказалось, что Достоевский не успел получить у Краевского деньги и попросил сходить за ними Буткова. Но так как номер «Отечественных записок» еще не пришел из типографии, Краевский денег не дал.

Узнав причину задержки, все развеселились, собрали недостающие рубли и приказали подавать обед.

За столом на этот раз было особенно оживленно, и Федор Михайлович, негодуя на Краевского, произнес такую пламенную речь об эксплуатации литературного труда Павлом Ивановичем Чичиковым (такое прозвище было дано в кружке Краевскому), что сотрапезники отвечали ему громкими рукоплесканиями и долго неумолкавшими криками «браво».

После обеда непременно подавали чай, и за разговорами чаепитие затягивалось до позднего вечера.

Когда же наступала неотвратимая минута прощания, Федор Михайлович подходил к каждому из своих товарищей, каждому с чувством жал руку и приговаривал:

— А ведь обед ничего, хорош. Рыба под соусом была даже очень и очень вкусная.

Якова Петровича Буткова он при этом еще и целовал. А Яков Петрович, в эту минуту вовсе не похожий на того «травленого волка», каким смотрел он на всех в редакции «Отечественных записок», благодушно и чуть лукаво улыбался и доверительно говорил:

— А вот, Федор Михайлович, тут, знаете ли, неподалеку открылось одно заведеньице — православная пирожковая лавочка: чай китайский, пиво казалетовское. Больших комфортов нет, а очень любезно, дешево и привольно-с! Вот я вас как-нибудь туда сведу... Нет, право, хорошо!

Беседы о литературе, дружеские обеды... Это были короткие часы отдохновения, некоторой душевной расслабленности, столь необходимой при вечном, берущим все силы души творческом напряжении. Но страстной, беспокойной натуре писателя, его ищущему уму требовалась все новая и новая духовная пища. Поэтому его неудержимо влекли к себе люди совсем особого склада — неудовлетворенные и жаждущие активного добра. Их он искал и находил.

## Пятницы в Коломне

Такого еще не видела старая Европа.

События разворачивались головокружительно, невероятно.

В ночь на 23 февраля 1848 года улицы Парижа покрылись баррикадами. Рабочие, ремесленники, присоединившиеся к ним национальные гвардейцы в течение следующего дня захватили казармы правительственных войск и к утру 24 февраля овладели городом. Король Луи-Филипп вместе с семейством бежал из столицы. Восставшие ворвались в Тюильрийский дворец и при всеобщем ликовании сожгли королевский трон. К вечеру того же дня было составлено временное правительство. Среди его членов оказались знаменитый социалист Луи-Блан и рабочий-революционер, участник лионского восстания, Альбер. 25 февраля в парижскую ратушу, где заседало правительство, явилась делегация от рабочих во главе со старым революционером Распайлем, которого в городе знали как непримиримого республиканца и еще как врача, бесплатно лечившего бедноту. Под угрозой нового восстания Распайль потребовал провозгласить Францию республикой и дал правительству два часа на размышления. Однако еще до истечения этого срока на стенах парижских домов появились плакаты со словами: «Французская республика. Свобода, равенство, братство».

Революция в Париже оказалась искрой, брошенной в солому. Пожар поднялся до небес, и в минуту занялась вся Европа. 2 марта вспыхнуло восстание в столице Баварии — Мюнхене. Волнения начались в немецких княжествах — Бадене, Вюртемберге, Гессене. 13 марта революция охватила Вену, столицу Австрийской империи. Пять дней спустя покрылся баррикадами Берлин.

Заволновалась Италия. Почти безоружные жители Милана прогнали отлично вооруженную семидесятипятитысячную австрийскую армию.

Свергла власть австрийцев и стала республикой Венеция. По требованию народа войну Австрии объявили правительства Пьемонта, Неаполитанского королевства, восставшая Флоренция.

Началось! .. То самое обновление мира, которое уже давно предсказывали и призывали вожди социалистов, теперь, казалось, стало явью. В петербургских кружках молодежи, где немало было горячих приверженцев «новой веры», возбужденные и радостные голоса на все лады повторяли последние вести с Запада. Сердца будоражило ожидание чего-то грандиозного, невероятного. Верилось, что и Россия не останется в стороне от великого движения, захватившего Европу.



Революция 1848 года во Франции.
*Литография.*

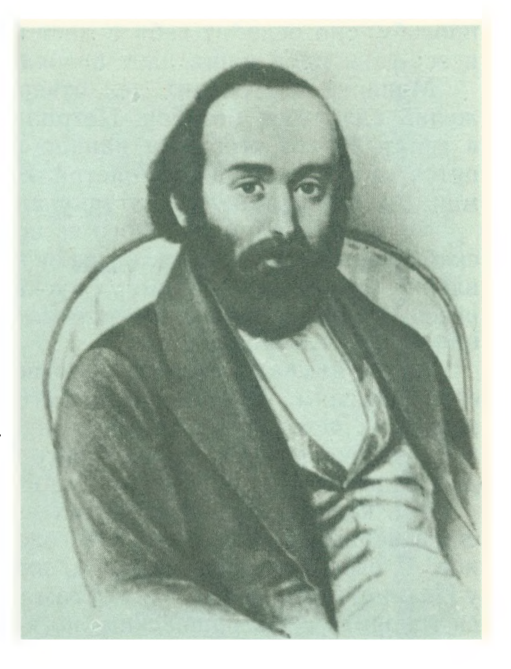
Самые многолюдные в целом Петербурге, самые шумные сходки вольнодумной молодежи, среди которой, впрочем, попадались и люди сторонние, просто любопытствующие, происходили в небольшом деревянном домике у церкви Покрова в Коломне, захолустной окраинной части города, населенной преимущественно бедным людом. Владельцем домика и устроителем сборищ, происходивших еженедельно по пятницам, был двадцатисемилетний чиновник министерства иностранных дел Михаил Васильевич Петрашевский.

Воспитанник Царскосельского лицея, он с юности увлекся чтением Фурье и делом своей жизни избрал пропаганду идей французского мечтателя. Как и его учитель, Петрашевский считал проповедь социальной справедливости вернейшим средством для переустройства общества. Впрочем, Петрашевский соглашался, что окончательную победу нового строя, быть может, придется добывать оружием. Но это будет после. А пока... Пока он все свое время и способности посвящал пропаганде фурьеризма.

В 1845 году Валериан Майков привлек Петрашевского к изданию

«Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка».

Словарь этот был необычный. По мысли его редактора, Майкова, он должен был стать своего рода энциклопедией, открывающей для русского читателя последние достижения естественных и социальных наук. Петрашевский сразу понял, что в словаре, под видом пояснения иностранных слов и оборотов, можно высказать такие мысли, которые в другом издании цензура ни за что бы не дозволила. Второй выпуск словаря, появившийся в следующем году, Петрашевский готовил сам. Рассказывали, что в статьях словаря, уже пропущенных цензором, он ухитрялся таким образом изменять отдельные буквы и знаки препинания, что смысл всего сказанного совершенно менялся. Кроме того, чтобы усыпить бдительность цензуры, Петрашевский придумал уловку вовсе уж дерзкую: добился разрешения посвятить второй выпуск словаря великому князю Михаилу Павловичу. Впрочем, крамольное издание не осталось незамеченным. Разошлись лишь около четырехсот экземпляров. Остальные полиция отобрала у книгопродавцев.



М. В. Петрашевский.
*Акварель неизвестного художника. 40-е годы XIX в.*

Но Петрашевский не унывал. Он действовал — и отыскивал к тому способы самые неожиданные.

По случаю реформы городского сословного самоуправления и выборов в Петербургскую городскую думу, Петрашевский выставил свою кандидатуру в секретари Думы.

В этой должности он рассчитывал повлиять на депутатов, добиться обсуждения насущных нужд населения, а потом и подачи правительству жалоб и заявлений.

— Важность тут та, — объяснял Петрашевский в кружке, — что правительство, и отказавши в просьбе, и удовлетворивши ее, поставит себя в худшее положение. Отказавши в просьбе сословию, оно вооружит его против себя — и идея наша идет вперед. Исполнивши

просьбу, оно ослабит себя и даст возможность требовать большего — и все-таки идея наша идет вперед!

Министр внутренних дел отверг кандидатуру Петрашевского. Не желая сдаваться без боя, Петрашевский подал на министра жалобу в сенат. Не то чтобы он наивно рассчитывал, будто сенаторы вступятся за него и осудят министра. Важно было привлечь всеобщее внимание к беззаконному поступку властей.

По воспоминаниям одного из посетителей его «пятниц», Петрашевский старался «обратить на себя внимание публики, которую он привлекал всячески, например, пусканием фейерверков, произнесением речей, раздачею книжек и т. п., а потом вступал с ними в конфиденциальные разговоры».

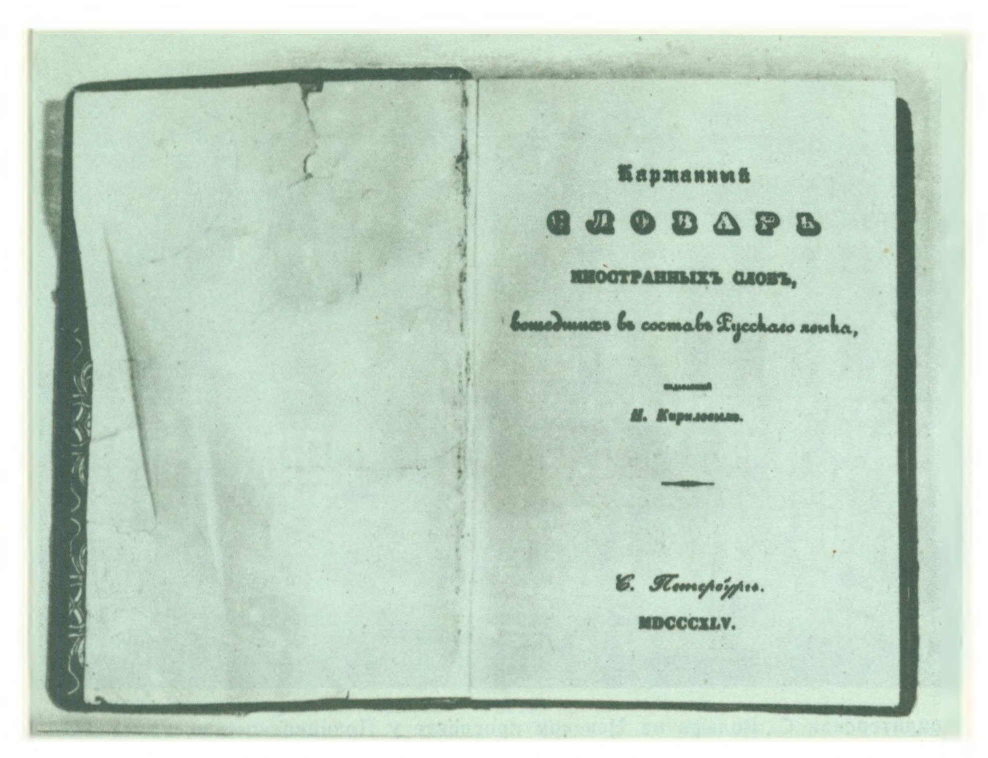
Он завязывал знакомства со всеми, в ком надеялся найти отклик своим мыслям. По собственным его словам, у него в Петербурге было знакомых человек восемьсот. Разумеется, среди них необходимо должен был оказаться и автор первого в России социального романа Федор Достоевский.

Вот как рассказывает об их знакомстве Достоевский: «Я увидел его в первый раз весною 1846 года... Знакомство наше было случайное. Я был, если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым, в кондитерской у Полицейского моста и читал газеты. Я видел, что Плещеев остановился говорить с Петрашевским, но я не разглядел лица Петрашевского. Минут через пять я вышел. Не доходя Большой Морской, Петрашевский поровнялся со мною и вдруг спросил меня: «Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?» — Так как я не разглядел Петрашевского в кондитерской и он там не сказал со мной ни слова, то мне показалось, что Петрашевский совсем посторонний человек, попавшийся мне на улице, а не знакомый Плещеева. Подоспевший Плещеев разъяснил мое недоумение: мы сказали два слова и, дошедши до Малой Морской, расстались. Таким образом, Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство... Мне показался он очень оригинальным человеком, но не пустым; я заметил его начитанность, знания». Так началось это знакомство.

Достоевский побывал на одной из «пятниц». Потом пришел еще. После разрыва с Белинским и смерти Майкова стал бывать здесь часто. Что влекло его в домик у Покрова? Конечно, столь близкая его душе стихия спора, бурное кипение высоких мыслей.

Здесь решали великие вопросы, касавшиеся судеб человечества, Европы, России.

Здесь говорили о многом. Но всегда, о чем бы ни зашла речь, разговор в конце концов клонился к одному — к необходимости освободить русский народ, уничтожить крепостное право, изменить все порядки в стране.


Карманный

СЛОВАРЬ

ИНОСТРАННЫХЪ СЛОВЪ,

вошедшихъ въ составъ Русскаго языка,

Н. Кирилловымъ.

С. Петербургъ.

MDCCCXLV.

«Карманный словарь иностранных слов», изданный Петрашевским в 1845 году.

«Освобождение крестьян, — страстно поддерживал эту мысль Достоевский, — несомненно, будет первым шагом к нашей великой будущности!»

Он верил, что Россию ждет именно такая будущность. Величие народной души он узнал еще в детстве. Сколько раз открывалась ему в грубом с виду, дико невежественном мужике удивительная чуткость и широта натуры, способность к высокой, нежной любви. Одно из детских воспоминаний было ему особенно дорого. Как-то в Даровом, забравшись в кустарник, чтобы выломать ореховый прут, он, девятилетний ребенок, вдруг явственно услышал крик: «Волк бежит!». Он обмер и вне себя от испуга бросился к горушке, где пахал мужик, их крепостной, которого в деревне звали Марей, — пожилой, плечистый, рослый, с окладистой бородой. «Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, — рассказывал Достоевский, — и когда я, разбежавшись,




Кондитерская С. Вольфа на Невском проспекте у Полицейского моста.
*Литография. 40-е годы XIX в.*

уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.

— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.

— Где волк?

— Закричал... Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит!» — пролепетал я.

— Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь! Какому тут волку быть! — бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

— Ишь ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. — Полно, родный. Ишь, малец, ай!



Коломна. Площадь у Калинкинского моста.
*Литография Ф. Перро. 1840 г.*

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. — Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

— Ишь ведь, ай, — улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, — господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут, в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял?»

О своих наблюдениях над жизнью русского мужика — страшной жизнью! — нередко рассказывал Достоевский на «пятницах» в Коломне. Он вспоминал Даровое, отчаянные письма отца, вспоминал нищие,

голодные деревни под Петербургом, где останавливалась по дороге в летние лагеря его кондукторская рота.

Однажды Федор Михайлович рассказал такой врезавшийся ему в память случай. Когда отец вез их с Михаилом в Петербург, в Инженерное училище, на почтовой станции увидели они фельдъегеря — здоровенного рослого детину с красным лицом. Вот к крыльцу подкатила лихая тройка, фельдъегерь вскочил в возок.

— Ямщик тронул, но не успел он тронуть, — рассказывал Достоевский, — как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких слов, поднял свой здоровенный правый кулак и сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду... Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят...

Если б случилось мне когда основать филантропическое общество, — заключил свой рассказ Федор Михайлович, — то я непременно дал бы вырезать эту фельдъегерскую тройку на печати общества как эмблему и указание.

Да, железный жандармский кулак, методически опускающийся на безвинную мужицкую голову, был эмблемой тогдашней русской жизни. Те, кто собирались у Петрашевского, исполнились решимости защитить мужика от мучителей. Но каким образом? На «пятницах» обсуждали различные проекты освобождения крестьян. Весной 1848 года Петрашевский, воспользовавшись очередными дворянскими выборами, пытался вручить свой проект крестьянской реформы губернскому предводителю дворянства. Но тот отказался даже принять записку, не то что обсуждать ее в дворянском собрании. В ответ на это Петрашевский, литографировав каким-то образом свою записку, не побоялся поставить на ней свое имя и стал раздавать ее в Петербурге и разослал в провинцию. Когда на тех же дворянских выборах было предложено отправить царю верноподданнический адрес с осуждением Французской революции, Петрашевский — он был депутатом собрания от Царскосельского уезда — иронически заявил, что русским дворянам не пристало, мол, рассуждать о политике. Депутаты смутились. Адрес поднесен не был. Рассерженный царь отказался принять от петербургского дворянства даже обычные в таких случаях выражения верноподданнических чувств. Министр внутренних дел генерал Перовский, взбешенный поступками Петрашевского, приказал установить за ним секретный полицейский надзор, поручив это дело одному из самых опытных своих чиновников — статскому советнику Липранди.

«...Я не встретил ни малейшего препятствия, — доносил по начальству Липранди о своих наблюдениях, — ибо оказалось, что все благомыслящие знали Петрашевского как вольнодумца в полном значении этого слова... Не трудно было также узнать, что у него в продолжении уже нескольких лет бывают постоянные, по пятницам, собрания, на которых, по выражению простолюдинов, он пишет новые законы».

## «Для блага всего рода человеческого»

События в Европе отзывались в петербургской публике толками самыми странными и противоречивыми. Большинству западные революции представлялись чем-то вроде стихийного бедствия, божьей кары, настигающих внезапно и безо всякой видимой причины. Когда однажды, по случаю высокой воды в Неве, для оповещания населения, как это всегда делалось, стали стрелять из пушек Петропавловской крепости, многие в городе были уверены, что это началась революция.

Почти так же, как трусливые обыватели, смотрело на европейские беспорядки само русское правительство. Оно полагало, что виной всему -- распространение вредных, разрушительных идей некими «злонамеренными личностями» и «демагогами». Тут, конечно, в первую голову винили французских и немецких журналистов, писателей и философов. И как результат подобных понятий — отечественную литературу, и так вечно бывшую в подозрении у властей, теперь постарались крепко-накрепко скрутить цензурными веревками. Председатель цензурного комитета, граф Мусин-Пушкин, прозванный «казанским ханом» (на службу в Петербург его вытребовали из Казани), не стеснялся в выражениях, выговаривая неблагонадежным, по его мнению, литераторам.

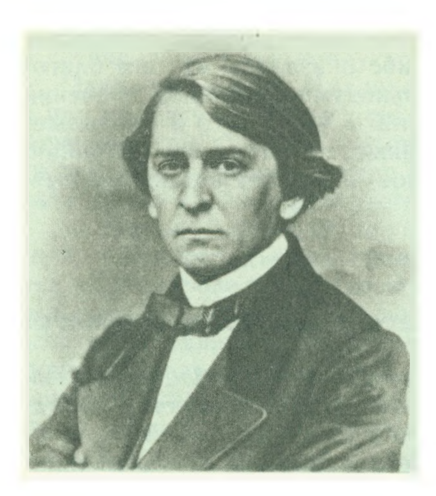
Как-то раз начальственный гнев Мусина-Пушкина обратился на Якова Петровича Буткова, чью повесть напуганный цензор внес на рассмотрение комитета.

— Вхожу в святилище цензуры, — рассказывал со всегдашним своим лукавым простодушием Яков Петрович, — за столом, облаченным зеленым покровом, сидят на креслах жрецы, а в переднем месте восседает сам первосвященник. Я, разумется, отдал подобающее поклонение.

— Бутков? — спрашивает верховный судья.

— Бутков, — отвечаю.

— Ты какую повесть представил?



А. Н. Плещеев.
*Фотография. 50-е годы XIX в.*

— «Людишки», — говорю.

— «Людишки»! Да ты кого это в ней людишками называешь? — загремел генерал, словно перед ним стоит целая бригада, а не один ускользнувший от рекрутства ординарный литератор. — Кого, я тебя спрашиваю? Людей в тысячу раз лучше тебя, не праздношатающихся каких-нибудь, а занятых государственной службой, людей деловых, да еще чиновных! И это у тебя людишки! И как ты решился написать это, да еще в цензуру представить? Вы что затеяли? Публику хотите развращать, возбуждать неуважение к чину, смеяться над людьми, допущенными к государственной службе! Вы, что ли, своей болтовней служите отечеству? Либералы! Сами ни к чему дельному не способны, так и других хотите с толку сбить? Зависть вас мучает? Разве литература для того дозволена правительством, чтобы ваше вредное пустословие распространять в народе? Людишки! . . Я посмотрю, что ты будешь писать!..

— Вышел я из цензурного святилища, — заключал свой рассказ Яков Петрович, — точно из торговой бани, лучше всякого пара прошибло. А ведь повестушка-то моя была не ахти как задорна: не ранги я осмеивал в ней, а натуришку мелкочиновную изобразить хотел, низкопоклонство да раболепство. Вот и весь либерализм!

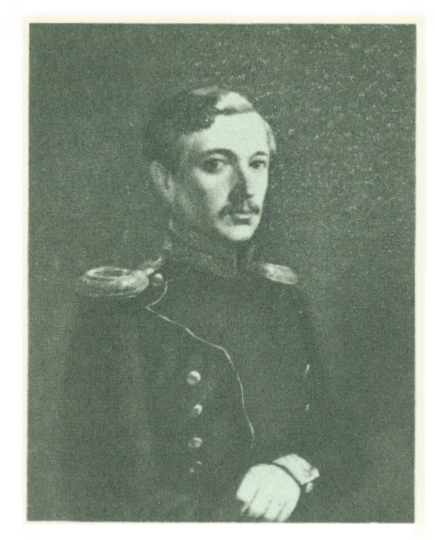
Председатель цензурного комитета действовал притом не в одиночку. Николай I распорядился учредить особый комитет для исследования вредного направления русской литературы, преимущественно журналов. Говорили, что комитет займется отысканием идей социализма, коммунизма и всяческого либерализма и что всех виновных в распространении разрушительных теорий ждет жестокая кара.

Ожидали закрытия «Отечественных записок» и «Современника». Опасались арестов.

«Когда, по случаю западных происшествий, — рассказывал вскоре один из членов кружка Петрашевского, — цензура всей своей массой обрушилась на русскую литературу и, так сказать, весь литературно-либеральный город прекратил по домам положенные дни, один Петрашевский нимало не поколебался принимать у себя своих друзей и коротких знакомых. . . Он, как и все его гости, очень хорошо знал,

что правительство, внимая чьим бы то ни было ябедам... во всякую минуту могло схватить, так сказать, весь его вечер и начать розыски, и не смутился духом».

Посетители «пятниц» знали, что рискуют головой. Но они не могли, не желали сидеть тихо по своим углам. Трусливое молчание казалось им позорным, подлым. И они говорили — громко, откровенно, точно бы издеваясь над полицейскими потугами водворить в стране гробовое молчание.



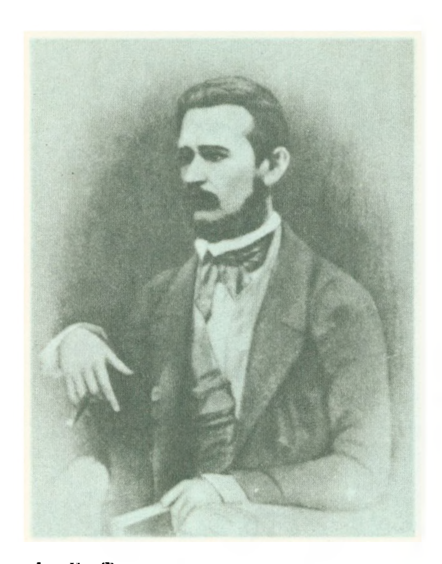
А. И. Пальм.
*Фотография. 50-е годы XIX в.*

Собрания у Петрашевского постепенно приняли вид регулярных заседаний — по образцу западных политических клубов. В начале вечера кто-либо из членов кружка выступал с заранее приготовленным докладом или речью. Затем все обсуждали услышанное. Обсуждением руководил председатель, вооруженный бронзовым колокольчиком в виде земного полушария, увенчанного статуей Свободы.

Несколько вечеров кряду молодой ученый Николай Данилевский излагал собравшимся систему Фурье. Преподаватель статистики военно-учебных заведений Иван Ястржембский прочел краткий курс политической экономии. Двадцатилетний сенатский чиновник Василий Головинский произнес пламенную речь о неминуемом падении крепостного права. Учитель русской словесности Феликс Толль говорил о происхождении религии. С тремя речами выступил здесь Федор Достоевский. В одной он разбирал вопрос о человеческой личности и эгоизме, две другие были посвящены литературе.

— Звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением, — говорил, между прочим, Достоевский. — На писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительства и принимается разбирать рукопись уже с очевидным предубеждением.

Трусость, глупость цензуры были излюбленной мишенью насмешек литераторов кружка. А литераторов на «пятницы» собиралось немало: кроме самого хозяина, Плещеева, Федора Достоевского — поэт и переводчик Сергей Дуров, литератор Александр Пальм, поэт Аполлон Майков, наконец, Михаил Достоевский.



Ф. Г. Толль.
*Фотография. 50-е годы XIX в.*

Михаил Михайлович стал бывать у Петрашевского почти тотчас, как приехал в столицу. Он, конечно же, разделял задушевные убеждения брата. Познакомившись теперь с учением Фурье, он всем сердцем сочувствовал этой вдохновенной проповеди социальных реформ. Но, человек спокойный и трезвый, да еще и семейный, он на собраниях у Петрашевского высказывался сдержанно. Да к тому же он не очень-то верил в успех социалистической пропаганды на русской почве.

— Я, кроме Фурье, никого и ничего знать не хочу,— заявлял Михаил, когда брат предлагал ему почитать сочинения других социалистов, — да и вообще, все это не для нас писано.

Федор не возражал, не уговаривал: у Михаила дети. Иное дело он сам — вольный, независимый. Его визиты к Петрашевскому, продолжавшиеся всю весну, не прекратились и летом.

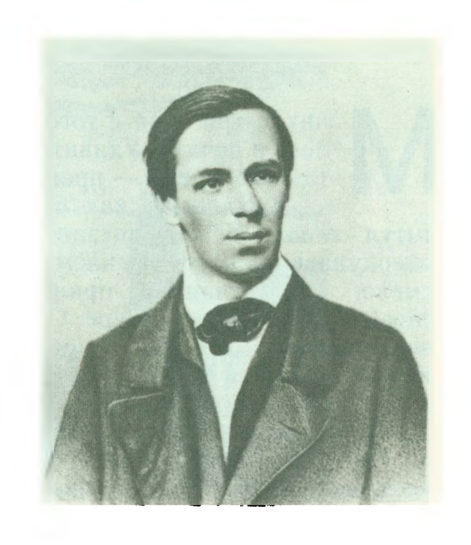
«В 1848 году мы жили летом в Парголове, — вспоминала Авдотья Яковлевна Панаева, — там же на даче жил Петрашевский, и к нему из города приезжало много молодежи. Достоевский, Плещеев и Толль иногда гостили у него. . . Частые сборища молодежи у Петрашевского были известны всем дачникам. Петрашевского часто можно было встретить на прогулках, окруженного молодыми людьми».

Среди этих молодых людей, приезжавших к Петрашевскому, был и студент Петербургского университета Павел Филиппов. Здесь, в Парголове, познакомился с ним Достоевский. Они подружились. В характере Филиппова удивительно соединились прямодушие, искренность, отчаянная смелость и какая-то рыцарственная, изящная вежливость. Казалось, больше всего на свете Филиппова заботило, чтобы кто-нибудь не усомнился в его беспредельной храбрости. По уверению Достоевского, его молодой друг непременно соскочил бы с Исаакиевского собора, если бы случился рядом кто-нибудь, чьим мнением он дорожит и кто бы стал сомневаться в том, бросится ли он вниз или струсит. В то лето Петербург посетила холера: десятки, а то и сотни людей умирали от нее каждый день. Нарочно для того, чтобы показать, что он ни капли не боится холеры, Филиппов, во-

преки советам медиков, ел зелень и пил молоко. Однажды, гуляя с ним в Парголове, Достоевский, шутя, указал на гроздь зеленых рябиновых ягод.

— Если съесть эти ягоды, — сказал он, — то холера, должно быть, придет через пять минут.

Филиппов тотчас сорвал всю гроздь и съел половину ягод, прежде чем Достоевский успел его удержать. Эта нелепая, мальчишеская, но какая-то милая удаль молодого студента трогала Достоевского. А еще больше нравилось ему в юноше то, что, поступив опрометчиво, Филиппов готов был раскаяться тотчас, сознаться в своей неправоте, если ему убедительно разъяснили дурную сторону его поступка.



А. Н. Майков.
*Литография. 50-е годы XIX в.*

Честность, искренность, смелость... Эти качества были в высокой степени присущи и самому Достоевскому.

Конечно, он не выказывал себя мальчишеской бравадой, но когда в Парголове на улице увидел холерного больного, то, не задумываясь, подошел к нему и помог.

Именно честность, именно смелость заставляли думать не только о тех несчастных, что были перед глазами, но и обо всех других, обо всех обездоленных на свете.

Весьма пристально наблюдавший за молодыми людьми, что приходили к Петрашевскому, статский советник Липранди свидетельствовал:

«. . . В большинстве молодых людей очевидно какое-то радикальное ожесточение против существующего порядка вещей, без всяких личных причин, единственно по увлечению мечтательными утопиями, которые господствуют в Западной Европе. . . Слепо предаваясь этим утопиям, они воображают себя призванными переродить всю общественную жизнь, переделать все человечество и готовы быть апостолами и мучениками этого несчастного самообольщения. От таких людей можно всего ожидать. По их понятиям, они действуют не для себя, а для блага всего рода человеческого, не для настоящей только минуты, а для вечности».

## «Белые ночи»

Минуло три года с того дня, как имя Федора Достоевского явилось в печати. Удивительно быстро — никогда прежде не летело так его время — пронеслись эти годы...

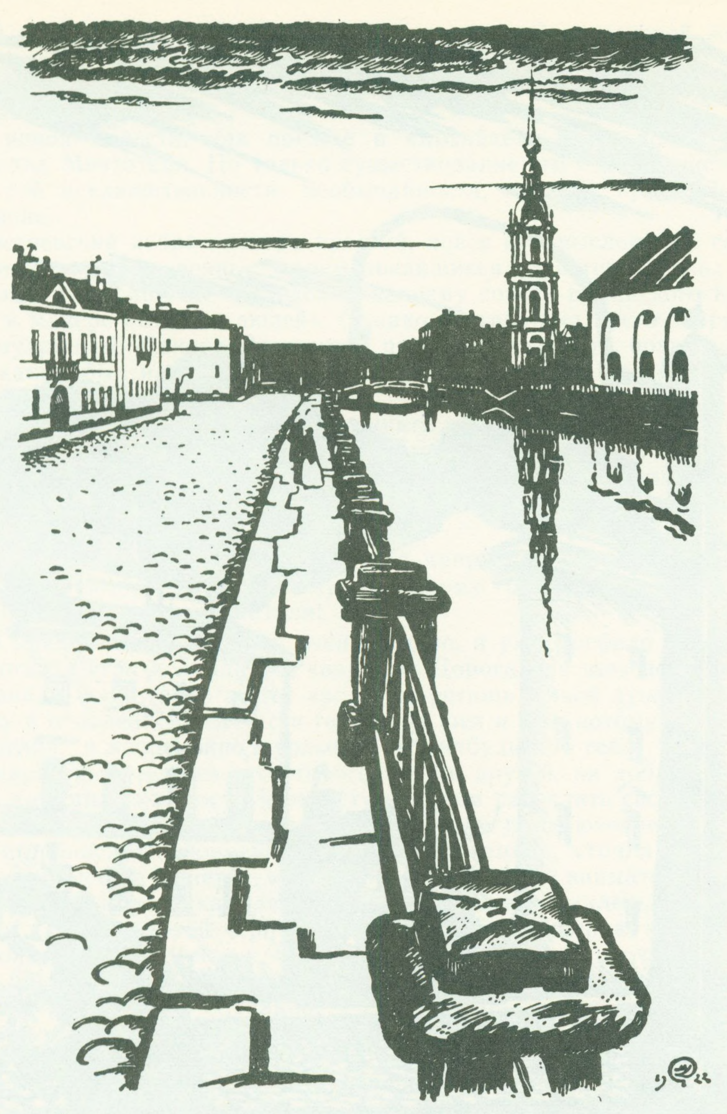
Как легко, как скоро получил он было этот высочайший титул *гения*. И как внезапно, как жестоко мимолетная его слава обернулась колкостями, насмешками, равнодушием. И как упрямо, как смело, как отчаянно пришлось ему бороться за свое — именно свое! — место в литературе. Однажды, в тяжелую минуту, он с горечью воскликнул: «...Я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходит за невременьем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа...»

Ни от бедности, ни от срочной работы он так и не ушел. Но пора «сомнительной известности», пора мучительной неопределенности теперь навсегда миновала. Он вступил, наконец, на твердую почву — он установился, обрел себя.

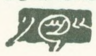
В декабрьской книжке «Отечественных записок» 1848 года была напечатана его небольшая повесть под заглавием «Белые ночи». Рецензент «Отечественных записок» отнес повесть к числу лучших литературных произведений года. «Автора не раз упрекали, — писал он, — в особенной любви часто повторять одни и те же слова, выводить характеры, которые дышат часто неуместной экзальтацией, слишком много анатомировать бедное человеческое сердце... В «Белых ночах» автор почти безукоризнен в этом отношении. Рассказ легок, игрив, и, не будь сам герой повести немного оригинален, это произведение было бы художественно прекрасно».

Достоевский в это время с гордостью замечал: «...Сочинения мои чем далее, тем более хвалятся публикою. Это верно, и я это знаю. Т. е. что же тут было такого, почему они, несмотря на падение мое в 47 году... и проч. начали читаться и выходить в люди? Ответ: Что, стало быть, есть во мне столько таланту, что можно было преодолеть нищету, рабство, болезнь, азарт критики, торжественно хоронившей меня, и предубеждение публики».

Всегда строгий к нему «Современник» — отдел критики в журнале Некрасова вел в это время писатель и публицист Александр Дружинин — решительно поставил новую повесть Достоевского выше прежних его произведений, исключая разве «Бедных людей». Дружинин находил и замечательной, и верной основную мысль повести — мысль о том, что существует «целая порода» молодых людей, которые при доброте, уме и при всей ограниченности своих скромных потреб-



«Белые ночи».
*Рисунок М. Добужинского.*



«Белые ночи».

*Рисунок М. Добужинского.*

ностей все-таки глубоко несчастны в окружающей их русской жизни. «От гордости, от скуки, от одиночества», как писал критик, эти молодые люди привязываются к своим воздушным замкам, становятся чудаками, мечтателями.

В новой повести, как прежде в «Хозяйке», Достоевский опять изобразил Мечтателя. Но только существование его было начисто лишено той исключительности, необычайности, которой пронизан мир Ордынова.

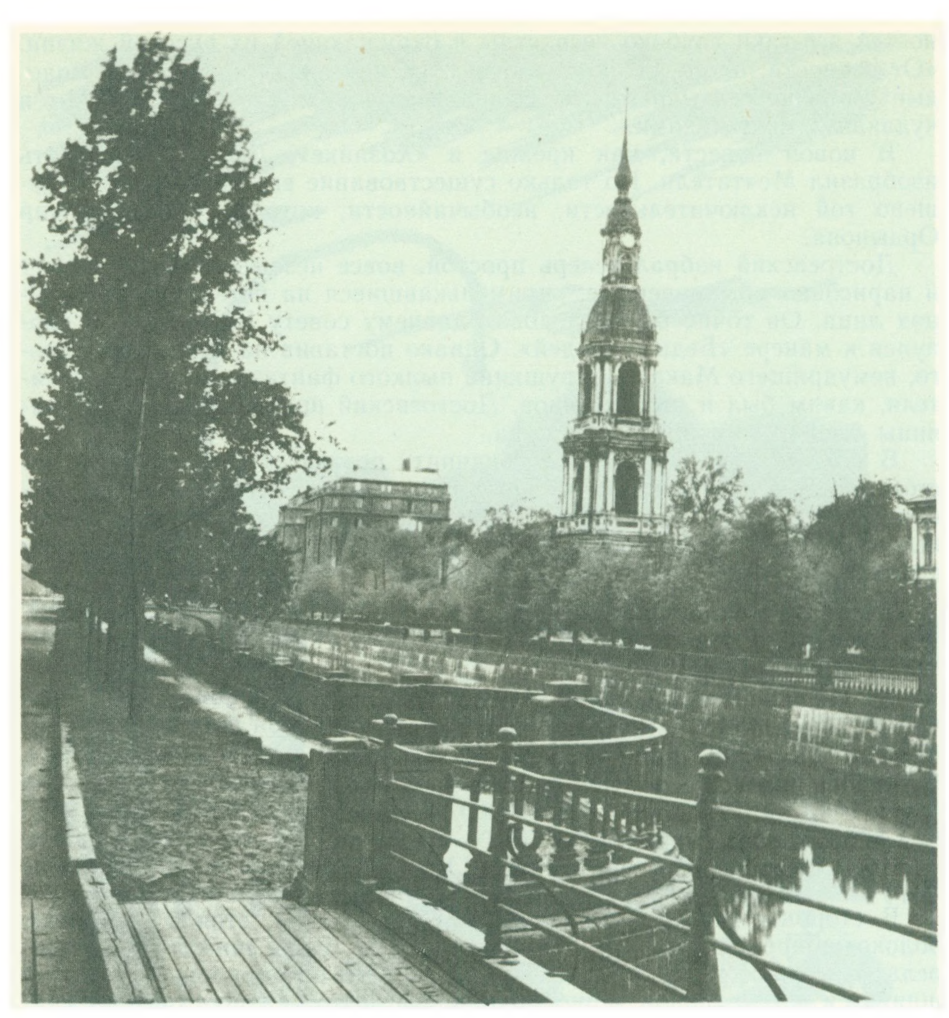
Достоевский избрал теперь простой, вовсе незамысловатый сюжет и нарисовал обыкновенные, примелькавшиеся на петербургских улицах лица. Он точно бы последовал давнему совету Белинского и вернулся к манере «Бедных людей». Однако поставив на место заурядного, немудрящего Макара Девушкина пылкого фантазера, поэта, мечтателя, каким был и его Ордынов, Достоевский широко раздвинул границы тесного чиновничьего мирка.

В «Белых ночах» он сумел соединить поэтическую простоту и достоверность в изображении жизни с философской глубиной в постижении человеческих характеров — и из этого-то сплава и возник постепенно тот неповторимый стиль, который навеки вошел в литературу с именем Достоевского.

Белые ночи... Странность, причуда капризной северной природы. Как к лицу они этому странному, холодному городу! И как созвучны душе петербургского мечтателя!

«Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило десять часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.

В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шелохнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! — подумал я, — верно, она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, но ведь это была такая минута!.. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес: «Судары-



Белая ночь. Крюков канал у Никольского собора.
*Фотография.*

ня!» — если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня».

Случайное знакомство. Робкая и пылкая любовь.

Но — увы! — обыкновенное, доступное другим счастье не дается Мечтателю. Его Настенька любит другого. Счастье, едва забрезжив, меркнет и тает вместе с неверным, обманчивым блеском короткой белой ночи. Мечтатель снова остается один.

«Или луч солнца, внезапно выглянув из-за туч, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким. . .»

Да, сердце Мечтателя рвется к настоящей, невыдуманной, осязаемой и полной жизни. Но точно бы не желает допустить его до себя, точно бы мстит ему эта жизнь. Мстит за то, что не приемлет он ее тоскливой пошлости, за то, что бежит ее жестокой, мелочной суеты, за то, что и перед лицом мрачного одиночества не сломится, не подчинится пошлости и суете его живая душа.

Над заглавием «Белых ночей» Достоевский поставил посвящение Алексею Николаевичу Плещееву — ближайшему из своих литературных друзей.

Почти в то же самое время, когда Достоевский писал «Белые ночи», Плещеев сочинял свою повесть о Мечтателе. Называлась она «Дружеские советы» и тоже попала в «Отечественные записки». Должно быть, Плещеев задумал ее не без влияния Достоевского. Должно быть, оба замысла зрели вместе. А возникли они, быть может, именно тогда, светлыми весенними ночами 1848 года, когда возвращались вдвоем от Петрашевского, когда, прислушиваясь к далекому гулу грандиозной борьбы, разгоравшейся на Западе, горячо, страстно грезили о близящемся царстве Свободы, и точно бы укором отдавались в их сердцах эти призывные слова:

Вперед, без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья! . .

## «Здоровье и забота о себе оказались пустяками»

Жадность к живой жизни, стремление перейти, наконец, от слов и мечтаний к спасительному и великому делу — вот что соединило, сдружило между собой вовсе непохожих и порою далеких друг другу людей. К Петрашевскому шли потому, что сами собрания у него представлялись полезной и славной работой. Сами разговоры необходимо вели к действию — вели постепен-

но, медленно, кружным путем, но Петрашевский полагал этот путь вернейшим.

— Путь наш хотя и долог, но маршрут хороший у нас, — говорил он.

Однако не все соглашались безусловно с хозяином «пятниц». Нашлись горячие, нетерпеливые умы, которые и на первых порах не довольствовались одной пропагандой, но хотели тотчас же готовить бунт, революцию. Вожаком их стал Николай Александрович Спешнев.

Однокашник Петрашевского по Царскосельскому лицею, Спешнев был богатым курским помещиком и владельцем двух домов в Петербурге. Высокий, статный, необыкновенно красивый — правильные черты лица, волнистые русые кудри до плеч — он тотчас же обращал на себя внимание, где бы ни появлялся. В каждом его слове, во всей повадке видны были внутренняя сила, сосредоточенность, недюжинная воля и завидная уверенность в себе. Прожив несколько лет за границей, Спешнев увлекся там социальными и революционными теориями, участвовал волонтером в гражданской войне в Швейцарии на стороне демократических кантонов и вернулся на родину ярым противником царской власти и крепостного права.

По возвращении в Петербург Спешнев стал частым гостем на «пятницах» Петрашевского. Здесь он мало говорил, зато часами слушал, приглядывался к посетителям «пятниц». Лишь немногих из них удостаивал вниманием и беседой — тех, кого хотел привлечь к своим революционным замыслам. В числе избранных оказался и Достоевский.

Федор Михайлович поначалу сторонился Спешнева. Он чувствовал обаяние, притягательную силу этого человека, но в его волевой натуре писателю чудилось нечто наполеоновское, даже демоническое. За глаза он называл Спешнева «Мефистофелем».

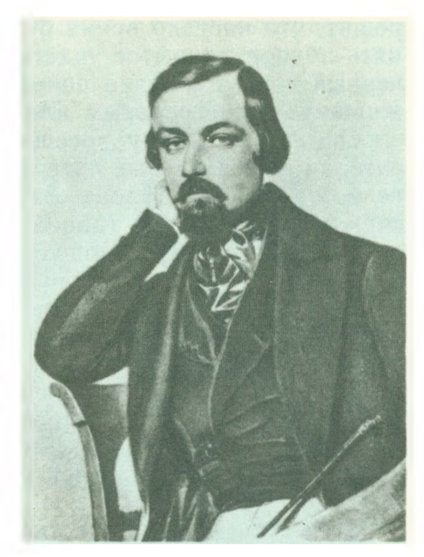
— Я его мало знаю, да, по правде, и не желаю ближе с ним сходиться, — говорил Достоевский доктору Яновскому. — Этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому.

Но случилось так, что время и происходившие в мире великие события сблизили и даже сделали союзниками этих очень разных, во многом чуждых другу другу людей.

Революционный пожар, столь бурно вспыхнувший весной 1848 года по всей Европе, был уже к зиме почти повсюду затушен, потоплен в крови. Правда, от огня и потрясений старый порядок немало потерпел и кое-что в нем пришлось подправить, изменить и обновить, но основы, самые устои его, уцелели. Той великой перестройки жизни, о которой мечтали высокие умы, революция не принесла.

Среди последних, не затоптанных еще очагов революции, были австрийские владения в Италии и Венгрии. Покончив с «беспорядками»

в центре империи, австрийское правительство решило приструнить и своих подданных—итальянцев и мадьяр. За Альпами дела австрийцев шли неплохо, но в Венгрии они терпели одно поражение за другим. Если бы венгерским бунтовщикам удалось отстоять свою свободу, австрийский монарх вряд ли усидел бы на троне. А новая революция в Вене опять подняла бы всю Германию, Италию, порабощенных Австрией поляков. Забурлила бы, верно, и русская Польша.



Н. А. Спешнев.
*Акварель неизвестного художника. 40-е годы XIX в.*

В конце 1848 года стало известно, что Николай I снаряжает огромную армию на помощь австрийцам. Так неожиданно, так причудливо все повернулось: судьбы европейской революции, судьбы Европы, судьбы человечества решались теперь здесь, в Петербурге!

Сколько толковали об этом в маленьком ветхом домике у Покровской площади! Через много лет Достоевский вспоминал, как на вечерах у Петрашевского он гневно нападал на правительство Николая, предложившее свои кровавые услуги австрийскому канцлеру Меттерниху. Да, у правительства были наготове тысячи солдат, сотни пушек.

А они, горстка безоружных мечтателей, с чем они могли выступить на защиту сражающейся Венгрии, всеобщей свободы?.. У них было лишь слово истины. Всего лишь честное, искреннее слово. Но, быть может, и это не так уж мало?..

Как-то раз к Спешневу пришли Достоевский и Плещеев.

— Вы, конечно, правы, — с жаром говорил Достоевский, — из затей Петрашевского никакого толка выйти не может. Да к тому же у него всегда видишь столько незнакомых лиц — страшно слово сказать...

Достоевский знал, что Спешнев уже давно думал оставить «пятницы» и создать свое революционное Тайное общество. И вот теперь Достоевский и сам пришел к мысли, что иначе невозможно «делать дело».

Какова должна быть программа, каков устав их Общества?..

Спешнев набросал текст подписки, которую станут давать члены новой организации: «Когда Распорядительный комитет Общества

решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное, открытое участие в восстании и в драке... быть в назначенный день и в назначенный час в назначенном мне месте... Вооружившись огнестрельным или холодным оружием...»

Они по-прежнему посещали «пятницы», но с февраля 1849 года затеяли еженедельные литературные и музыкальные вечера на квартире поэта Сергея Дурова. Затеяли с умыслом, чтобы за этой ширмой скрыть сходки своей тайной организации. Спешнев в шутку называл собрания у Дурова «Обществом страха перед полицией».

Сначала все выглядело вполне невинно. Говорили об искусстве, проектировали издание своего журнала, читали стихи, слушали игру приятелей-музыкантов. Но чем дальше, тем больше места на этих вечерах занимала политика.

Заговорщики подбирали единомышленников, стремились упрочить свое влияние среди петербургских вольнодумцев. Непосвященные — в числе их был и сам хозяин «салона» Сергей Дуров — не догадывались, что их приятельские собрания служат целям революционного заговора.

Новых членов в Общество решено было вербовать с большой осторожностью, выбирая людей деятельных и в то же время проверенных, вполне надежных.

Поначалу в Обществе было только семь человек: кроме Спешнева и Достоевского — студент Павел Филиппов, гвардейские офицеры Николай Григорьев и Николай Момбелли, молодые ученые Николай Мордвинов и Владимир Милютин.

На первых порах решено было организовать тайную типографию для распространения революционных идей.

Составителями агитационной литературы должны были стать сами члены Общества. Николай Григорьев написал злой памфлет на порядки в армии — «Солдатская беседа». Павел Филиппов готовил «Десять заповедей» — речь в них шла о том, как в православной России с благословения властей и церкви совсем не по-христиански грабят и мучают народ.

Тайному обществу нужны были литераторы. Спешнев и Достоевский решили пригласить молодого поэта Аполлона Майкова. Как-то вечером, придя к Майкову и оставшись у него ночевать, Достоевский напрямик приступил к делу.

— Из кружка Петрашевского несколько серьезных людей решились выделиться, — объявил он Майкову, — тайно, ничего другим не сообщая, образовать Особое тайное общество с тайной типографией для печатания разных книг и даже журналов. В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюбивы...

— Как так?

— Вы не признаете авторитетов. Вы, например, не соглашаетесь со Спешневым.

— Политической экономией я особенно не интересуюсь, но действительно, мне кажется, что Спешнев порой говорит вздор. Что ж из того?

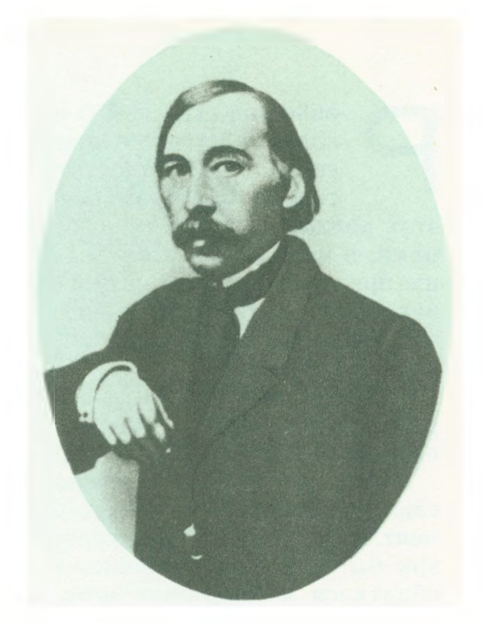
— Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек — мы восьмым выбрали вас. Хотите ли вступить в Общество?

— Но с какой целью?

— Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок — его заказывали по частям, в разных местах, по рисункам Филиппова. Все готово.

Майков испугался.

— Я не только не желаю вступать в Общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели! Мы поэты, художники, не практики, без гроша. Разве мы годимся в революционеры?



С. Ф. Дуров.
*Фотография. 50-е годы XIX в.*

Достоевский стал горячо говорить о святости того дела, за которое взялось их Общество, о долге спасти отечество. Они спорили до полуночи, потом легли спать.

— Ну что же? — спросил Достоевский поутру.

— Да то же, что и вчера, — отвечал Майков. — Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю и, повторяю, если есть еще возможность, бросьте их и уходите.

— Ну, это уж мое дело. А вы знайте — обо всем вчера сказанном знают только семь человек. Вы — восьмой. Девятого не должно быть!

— Что до этого, то вот вам моя рука — буду молчать...

Позднее, вспоминая об этом времени, Достоевский рассказывал: «Явилась идея, перед которой здоровье и забота о себе оказались пустяками».

Идея эта была — спасти Россию, спасти человечество. Тут уж было не до здоровья.

## Бурные дни

Ровно год статский советник Липранди подыскивал агента, пригодного на роль шпиона и провокатора в кружке Петрашевского. «Тут недостаточно было ввести в собрания человека только благонамеренного, — объяснял Липранди. — Агент этот должен был, сверх того, стоять в уровень в познаниях с теми лицами, в круг которых он должен был вступить... и, наконец, стать выше предрассудка, который в молве столь несправедливо и потому безнаказанно пятнает ненавистным именем доносчика... Такие агенты за деньги не отыскиваются. Но я был столь счастлив, что наконец вполне успел в этом...»

Добровольного агента, которого, в конце концов, нашел-таки Липранди, звали Петром Антонелли. Он был сыном петербургского живописца, слушал лекции в университете.

Когда Антонелли согласился стать полицейским шпионом, его зачислили чиновником в министерство иностранных дел, в тот же департамент, где служил Петрашевский. Тут уж Антонелли было нетрудно, как бы невзначай, познакомиться со своим «подопечным». Вскоре он обратился к Петрашевскому за советом — Антонелли тягался с родственниками из-за наследства. Дело было запутанное, кляузное, и новый знакомец попросил разрешения прийти к Петрашевскому на дом. Он наведался раз, другой. Затем без приглашения явился на «пятницу» и после того не пропускал ни одного собрания. Он внимательно слушал, всем поддакивал, даже сам понемножку бранил правительство, а придя домой, аккуратнейшим образом записывал, кто и что говорил.

В первый раз Антонелли увидел Достоевского в пятницу 1 апреля 1849 года. В тот вечер речь шла о свободе книгопечатания, перемене судопроизводства и, конечно, об освобождении крестьян. Василий Головинский, которого привел на «пятницу» Достоевский, горячо и красноречиво говорил о том, что грешно и постыдно честному человеку равнодушно глядеть на страдания двенадцати миллионов крепостных рабов. Он резко возражал Петрашевскому, который считал, что проще сперва добиться судебной реформы, а потом уже требовать освобождения крестьян. Николай Момбелли полагал, что в ожидании отмены крепостного права каждый помещик обязан заботиться о просвещении народа, заведении школ. Поручик Григорьев заметил при этом, что правительство противится распространению грамотности среди мужиков. Он рассказывал, как его брат хотел было открыть школу в своем имении, но не получил на то дозволения властей.

В собрании 15 апреля главную роль играл Достоевский. Накану-

Письмо Белинского к Гоголю.
*Список. Страница первая*

не он получил из Москвы, от гостившего там Плещеева, копии со знаменитого письма Белинского к Гоголю и ответа Гоголя на это письмо. Оба документа он прочел в тот вечер у Петрашевского.

По донесению Антонелли, чтение письма Белинского привело всех слушателей в возбуждение. Иван Ястржембский то и дело повторял по-польски: «О, то так! О, то так!» Слышались отрывистые восклицания, чьи-то одобрительные возгласы.

Глуховатый голос Достоевского звучал ровно и напряженно. «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь, — читал Достоевский, — уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со

своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостою плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне!..»

Достоевский читал, и в этой гневно брошенной на бумагу ораторской речи ему слышались знакомые интонации, виделись загоревшиеся глаза и светлая прядь волос над высоким лбом Белинского. Словно бы и не читал он, а слушал самого Виссариона Григорьевича,слушал неотрывно и влюбленно... Нет, он и теперь не вполне разделял мысли, высказанные Белинским в его письме, он и теперь не уступил в том прежнем, давнем их споре. Но теперь в душе Достоевского поселилась страсть, неведомая ему прежде. Он понимал, он разделял теперь святое нетерпение Белинского, когда-то удивлявшее и едва ли не раздражавшее его. Жажда справедливости, всегда его мучившая, мечта о всеобщем счастье, всегда ему дорогая, нынче стали его неотступной мыслью, сделались неодолимой страстью. И не потому пошел он за Спешневым, не потому вступил в Тайное общество и стал вдруг бунтарем, что строгие и неопровержимые доводы разума убедили его в необходимости и пользе революционного насилия. Нет, тут была не наука, не расчет, но страсть. Ему надо было лишь одного: отдать всего себя великому и святому делу Справедливости. Он готов был, если понадобится, пожертвовать собою, потому что немыслимо больше ждать, невозможно оставаться благополучным и невредимым при виде неизбывных страданий человечества. Это была, собственно, та самая страсть, что сделала его поэтом, но сейчас она завладела не только воображением — его слова, его поступки, все его существование пронизано было этим единым стремлением осуществить великую мечту или погибнуть. И вот в эти-то бурные месяцы он писал так уверенно, так быстро и вдохновенно, как, быть может, еще никогда не писал.

Сразу же следом за «Белыми ночами», в январской книжке «Отечественных записок» за 1849 год явилась первая часть романа «Неточка Незванова». В февральской книжке была напечатана вторая часть. Третью часть он подготовил к печати, а еще три части романа, написанные начерно, отделывал и рассчитывал поместить в ближайших номерах журнала.

«Теперь я сижу безостановочно над 4-й частью, несмотря на то, что, едва кончив 3-ю, не дал себе ни крошки отдыху, — сообщал он Краевскому в конце марта, — ибо хочу... напечатать непременно 2 части в мае (т. е. 4-ю и 5-ю). Я и теперь рву волосы, что эпизод доставлен не весь, а разбит на 3 части. Ничего не кончено, а только возбуждено любопытство. А любопытство, возбужденное в начале месяца, по-мое-

му, уже не то, что в конце месяца; оно охлаждается и самые лучшие сочинения теряют...»

Несколько дней спустя к Краевскому полетела записка: «...4-ая часть будет у вас к 15-му... Дайте мне 15 рублей серебром за 5-ю часть. Что вам 15 руб.? А мне это будет много. Помилуйте, я всю неделю без гроша, хоть бы что-нибудь! Если бы вы только знали, до чего я доведен! Только стыдно писать, да и не нужно. Ведь это просто срам, Андрей Александрович, что такие бедные сотрудники в «Отечественных записках». Ну, задолжали много: конечно, худо! Но ведь и отдача есть, и работа есть. Ведь кажется, что есть, Андрей Александрович. Пришлите мне, ради бога, Андрей Александрович, корректурные листы 3-й части. Ужасно, как нужно!»

За два с лишним года перед тем, когда «Неточка Незванова» была еще только задумана, Достоевский полагал писать свой роман в Италии — на досуге, на свободе. Но вышло не так. Не было досуга, была срочная, доводившая порою до изнеможения работа, были бесконечные, выматывавшие душу мелкие хлопоты из-за безденежья, были жаркие споры в политическом клубе у Петрашевского, была, наконец, конспирация, участие в Тайном обществе.

Тугой, упрямой пружиной закручивалась его судьба. Он сам так хотел. Он давно уже не жил иначе, как только изо всех сил, только взахлеб. Ему именно нравилась та жизнь, что заставляла до предела напрягать волю, напрягать способности. Ему сделался необходим этот ежедневный труд постижения людской души — самого средоточия жизни — во всех ее изгибах, противоречиях, во всей сложности и богатстве.

И ни в одном из прежних своих сочинений не явился он еще таким глубоким художником, таким тонким психологом, как в «Неточке Незвановой» — столь тщательно обдуманной, так много раз переправленной и переписанной, выношенной, что называется, за эти два года.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ
ЗАПИСКИ.

I.

СЛОВЕСНОСТЬ.

НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА.

ИСТОРІЯ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Дѣтство.

I.

Отца я не помню. Онъ умеръ, когда мнѣ было два года отъ рожденія. Мать моя вышла замужъ въ другой разъ. Это второе замужство принесло ей много горя, хотя и было сдѣлано по любви. Мой отчимъ былъ музыкантъ. Судьба его очень-замѣчательна: это былъ самый странный, самый чудесный человѣкъ изъ всѣхъ, которыхъ я знала. Онъ слишкомъ-сильно отразился въ первыхъ впечатлѣніяхъ моего дѣтства, такъ сильно, что эти впечатлѣнія имѣли вліяніе на всю жизнь мою. Прежде всего, чтобъ былъ понятенъ разсказъ мой, я приведу здѣсь его біографію. Все, что я теперь буду разсказывать, узнала я потомъ отъ знаменитаго скрипача Б., который былъ товарищемъ и короткимъ пріятеломъ моего отчима въ своей молодости.

«Неточка Незванова».
*Первая публикация в журнале «Отечественные записки».*



Сцена у комода.
*Рисунок П. Федотова. 40-е годы XIX в*

Роман его в журнале имел подзаголовок: «История одной женщины». Здесь Достоевский впервые рисовал историю характера, историю развития личности. Первые две части романа были воспоминанием героини о ее детстве, третья часть — воспоминанием о годах отрочества. Излюбленная тема Достоевского этих лет — тема мечтательства — зазвучала здесь по-новому, естественно сплетаясь с рассказом о жизни ребенка. Ведь всякий ребенок — мечтатель. Мечты его — защита от непонятного, страшного, трагического, что видит он вокруг. А детство Неточки мрачно. И причудливые, порою дикие представления возникают в сознании девочки, чьи ранние годы связаны с образом больной умирающей матери и полубезумного отчима-музыканта, спившегося, погубившего свой талант. Одаренная чуткой, любящей натурой, Неточка, взрослея, преодолевает свою мечтательность, крепнет душой. Складывается характер действенный, живой, сильный.

«История одной женщины»... Достоевский был убежден, что роман этот станет новой и едва ли не самой блистательной его удачей. «Я знаю, что это произведение серьезное. Говорю, наконец, это не я, а говорят все». Днями и ночами сидел он теперь над продолжением своего романа, закончить который — увы! — ему не было суждено.

## «По высочайшему повелению...»

Без малого четырнадцать месяцев полиция наблюдала за Петрашевским и его кружком.

20 апреля 1849 года Липранди приказано было передать собранные им материалы в Третье отделение. Шеф жандармов граф Орлов ознакомил с ними царя.

«Я все прочел, — писал царь Орлову, — дело важное, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию...»

Начальник Третьего отделения немедленно дал секретные предписания об аресте тридцати четырех лиц. В числе предписаний было и следующее:

«Господину майору С. Петербургского жандармского дивизиона Чудинову.

По высочайшему повелению, предписываю Вашему высокородию завтра, в 4 часа по полуночи, арестовать отставного инженер-поручика и литератора Федора Михайловича Достоевского, живущего на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта д. Шиля, в 3-ем этаже, в квартире Бреммера, опечатать все его бумаги и книги и оные, вместе с Достоевским, доставить в III отделение собственной его императорского величества канцелярии. При сем случае вы должны строго наблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было скрыто».

Предписание было дано 22 апреля, в пятницу.

День был пасмурный. С утра небо хмурилось, а к вечеру пошел проливной дождь. Около семи часов доктор Яновский, собравшийся было пить чай, услыхал в прихожей звонок и затем голос Федора Михайловича. Яновский выбежал навстречу гостю и увидел Достоевского, с которого ручьями стекала вода.

— Заметил у вас огонек, зашел, — сказал Достоевский, — да заодно надо и пообсушиться.

Яновский принес гостю свое белье и сапоги, а снятое велел слуге просушить у плиты. Они напились чаю. Прошло часа два — слуга подал просохшие вещи, и Федор Михайлович, снова переодевшись, собрался уходить. Дождь лил по-прежнему.

— Как же вы пойдете в такую погоду, — остановил его Яновский, — на ходу дождь вас опять промочит.

— В таком случае, — улыбнулся Достоевский, — дайте мне немного денег. Я поеду на извозчике.

Но, как на грех, собственных денег у Яновского не оказалось ни копейки, а в заведенной ими общей кассе лежали одни десятирублевые бумажки.

— Скверно, — поморщился Федор Михайлович и собрался было уходить, но Яновский вспомнил про железную копилку, в которую собирали пятачки для раздачи нищим. Достоевский согласился позаимствовать из копилки и взял шесть пятачков.

Но домой он не поехал, а отправился к члену Тайного общества поручику Николаю Григорьеву, у которого засиделся допоздна. Уходя, взял почитать запрещенную книгу Эжена Сю «Караванский пастырь, беседы о социализме».

Воротившись домой уже среди ночи, Достоевский тотчас лег спать.

Не более как через час он сквозь сон услышал, что в комнату его вошли какие-то люди. Вот как будто брякнула сабля, кто-то задел стул. С усилием открыв глаза, Достоевский повернул голову.

— Вставайте! — раздался мягкий вкрадчивый голос.

Рядом стоял частный полицейский пристав с красивыми бакенбардами. Но говорил не он, говорил господин, одетый в голубой жандармский мундир с эполетами майора.

— Что случилось? — спросил, приподнявшись на кровати, Достоевский.

— По высочайшему повелению... — Майор показал бумагу.

Достоевский увидел в дверях еще жандарма при сабле.

— Позвольте же мне...

— Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с, — проговорил майор совсем уже мягко и ласково.

Пока Федор Михайлович одевался, жандармы рылись в книгах. Бумаги и письма аккуратно перевязали веревочками. Полицейский пристав, проявлявший особенное усердие, взял со стола чубук и, открыв печь, стал шарить в золе. Ничего не найдя, он подозвал жандармского унтер-офицера. Тот встал на стул и полез на печь, но сорвался, с грохотом упал на стул, и со стулом на пол.

Между тем неугомонный пристав, заметив на столе пятиалтынный, старый и погнутый, внимательно оглядел его и значительно кивнул майору.

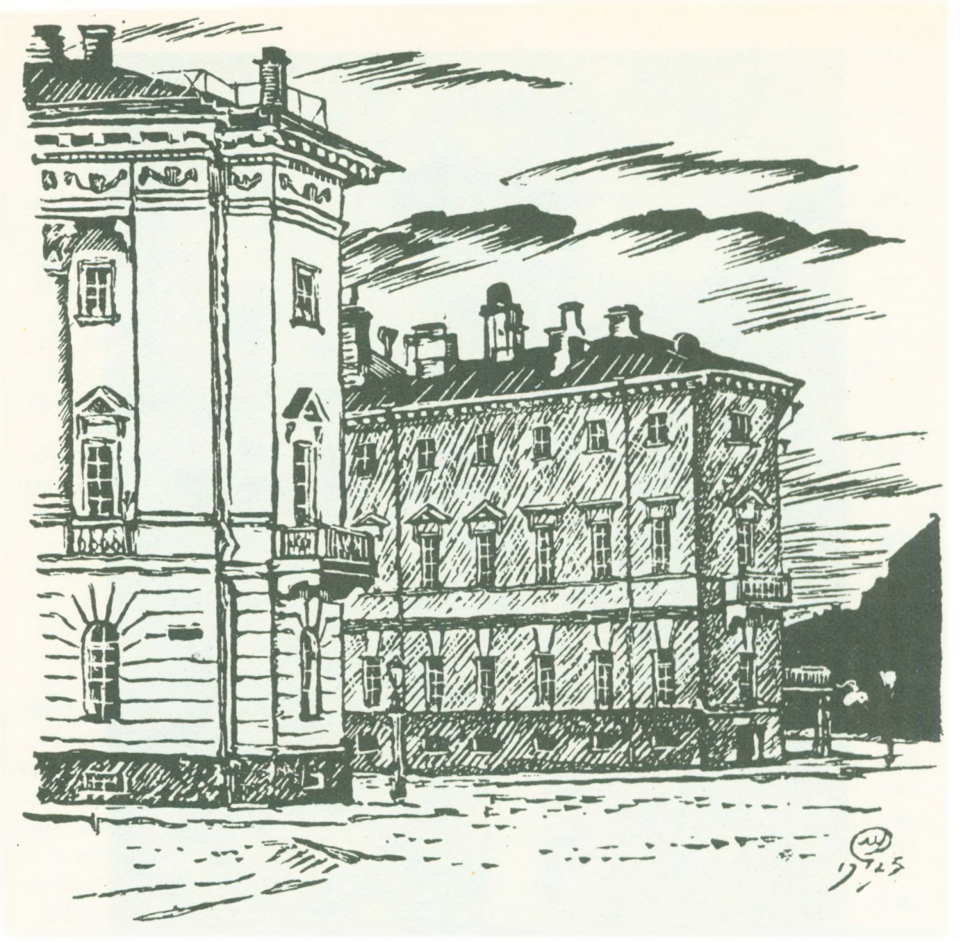
— Уж не фальшивый ли? — усмехнулся Достоевский.

— Гм... Это, однако, надо исследовать, — пробормотал пристав и присоединил пятиалтынный «к делу».

Обыск окончился, и арестованного вывели. В дверях стояла перепуганная хозяйка, которой невдомек было, каким таким страшным преступником оказался ее постоялец: она в эти два года не замечала за ним ничего предосудительного, кроме того разве, что он весьма неаккуратно платил за квартиру. Тут же торчал и хозяйский слуга Иван — тоже испуганный, но глядевший с приличною случаю мрачной торжественностью.



Белая ночь.
*Фотография*



Дом Шиля на Вознесенском проспекте, угол Малой Морской.
*Рисунок М. Добужинского.*

На улице, несмотря на ранний час, было светло. Дождь прекратился. Стояла прекрасная, нежная, фантастическая петербургская белая ночь. На светлом небе бледно сияла игла Адмиралтейства.

В карету, стоявшую у подъезда, сел жандарм, за ним Достоевский, следом майор и частный пристав. Лошади тронули — и карета покатила в сторону Летнего сада, к дому Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии.



Дом на проспекте Майорова, 8/23, угол улицы Гоголя (Бывший Шиля).
*Фотография.*

В ту же ночь арестованы были еще тридцать два посетителя домика у Покрова и, конечно, Петрашевский.

К нему пожаловал сам генерал Дубельт.

Одевайтесь, — приказал он. Петрашевский был в халате.

Я одет.

То есть как?

Я ночью никогда не одеваюсь иначе.

Вы не знаете, куда поедете и с кем будете говорить! Советую вам одеться.

Петрашевский рассмеялся и пошел одеваться. Дубельт тем временем перелистывал книги.

Не смотрите их, генерал, прошу вас!

— Почему?

— Тут все запрещенные издания. Боюсь, вам станет дурно.

— Зачем же вы держите запрещенные книги?

— Видите ли, генерал, это дело вкуса...

В большом зале в доме Третьего отделения Достоевский встретил много знакомых лиц. Жандармы то и дело вводили арестованных. Вдруг в дальнем конце зала Достоевский увидел брата Андрея.

— Брат, ты как здесь?

Но говорить им не дали. Андрея увели. Достоевский догадался, что младшего брата взяли по ошибке — вместо Михаила.

## «Секретный дом»

Всех арестованных по делу Петрашевского из Третьего отделения отправили в Петропавловскую крепость и развели по камерам. Достоевского, как «одного из важнейших», заперли в тюрьме Алексеевского равелина.

Тюрьма эта, или, как ее называли, «Секретный дом», была страшным, особо секретным царским застенком. Сюда помещали самых опасных политических преступников.

Раз в году, в праздник Преполовления, когда по стенам крепости устраивали крестный ход, простые смертные могли видеть где-то внизу, внутри треугольного Алексеевского равелина приземистое треугольное одноэтажное здание, вокруг которого с саблями наголо ходили часовые. Это и был «Секретный дом», о котором обычно упоминали шепотом, боязливо оглядываясь и поспешно крестясь.

Сырые, холодные, мрачные одиночки «Секретного дома» кишмя кишели крысами и мерзкими насекомыми. Днем в тюрьме царила жуткая тишина, ночью гремели ключи и засовы — узников выводили на допрос.

Все было сделано для того, чтобы сломить арестанта и духовно и телесно. Собственную одежду отбирали — взамен давали грязное, заношенное, заплатанное отрепье из грубого холста. Причем это отрепье надевалось прямо на голое тело. Таким же грязным и заношенным был арестантский халат. Обувь заменяли огромные стоптанные туфли без задников, затруднявшие ходьбу и сваливавшиеся с ног. Скудную пищу из несвежих продуктов готовили в плохо луженных котлах. Хлеб был полусырым, вода с каким-то странным привкусом.

Узники чувствовали себя заживо погребенными. Их и действительно вычеркивали из жизни. Не Федор Достоевский, а № 9 — по номеру камеры.



Петропавловская крепость.
*Литография Ф. Перро. 1840 г.*

Две недели провел Достоевский, не выходя из каземата. Четыре стены. Ни пера, ни чернил, ни книг, ни людей. Койка, стол да под потолком за решеткою квадратик бледного неба. . . Шестого мая его вызвали, наконец, к допросу. В большой комнате комендантского дома заседала назначенная царем следственная комиссия. Над крытым красным сукном столом склонились, вычитывая что-то в бумагах, пять голов. Когда конвойные ввели его в залу, пять пар глаз уставились на него и принялись ощупывать и оценивать. Пятеро важных сановников империи удостоили его вниманием: комендант Петропавловской крепости Набоков, начальник штаба корпуса жандармов Дубельт, сенатор Гагарин, помощник военного министра Долгоруков, начальник военно-учебных заведений Ростовцев.

Отставного инженер-поручика Достоевского ласково, но твердо попросили дать чистосердечные показания как в отношении собственных его действий, так и действий других лиц. Его спросили, для чего собирались молодые люди по пятницам у Петрашевского. И что знает он, Достоевский, о Петрашевском и об этих людях. Не было ли какой

тайной, скрытой цели в обществе Петрашевского. И точно ли на «пятницах» говорили либерально и вольнодумно. И правда ли, что он, Федор Достоевский, прочел в собрании 15 апреля письмо литератора Белинского к литератору Гоголю...

На все вопросы Достоевский отвечал кратко и по возможности уклончиво. Генерал Ростовцев, изображая отеческое сожаление о заблудшем и просвещенную заботливость о молодом таланте, обратился к Достоевскому с прочувствованной речью:

— Я не могу поверить, чтобы автор «Бедных людей» был заодно с этими порочными юношами! Это невозможно. Вы мало замешаны. Расскажите нам без утайки все дело. Я выпрошу у государя прощение для вас!

Но Достоевский, вопреки ожиданиям генерала, не польстился на приманку. Он повторял одно: собрания у Петрашевского были дружескими сходками, никакого общества не существовало, никакой тайной цели не было, собирались единственно для того, чтобы потолковать, поспорить, и если иной раз и срывалось резкое слово, то не иначе, как в пылу спора между приятелями, — это ли преступление?

Видя, что Достоевский не собирается «чистосердечно признаваться» и оговаривать товарищей, генерал Ростовцев по-актерски закрыл глаза ладонью и трагическим тоном воскликнул:

— Я не могу вас больше видеть!

Толстый генерал вскочил со своего места и выбежал в другую комнату. Достоевскому предложено было хорошенько обдумать ответы на заданные вопросы и представить комиссии письменные показания. С тем его и увели обратно в каземат.

Однако напрасно следователи надеялись, что в мертвой тишине и полумраке сырого каменного склепа, куда не проникало ни единого звука, кроме чуть слышного перезвона курантов на Петропавловском соборе, заключенный «номер девять» затоскует, падет духом и оттого сделается податливее, перестанет «запираться». Достоевский и в письменных показаниях стоял на своем. Он не только не каялся, но как будто даже хотел пристыдить своих обвинителей.

«...Если желать лучшего есть либерализм, вольнодумство, то в этом смысле, может быть, я вольнодумец, — писал «номер девятый».—Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своем и любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредил ему... В чем обвиняют меня? В том, что я говорил о политике, о Западе, о цензуре и проч.? Но кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах?.. Неужели обвинят нас, которым дали извест-



Комендантский дом в Петропавловской крепости.
*Фотография.*

ную степень образования, в которых возбудили жажду знания и науки — неужели обвинят нас в том, что мы имели столько любопытства, чтоб говорить иногда о Западе, о политических событиях, читать современные книги, приглядываться к движению западному, даже изучать его по возможности».

Еще прежде чем допросили Федора Михайловича, вызвали в комиссию его младшего брата — Андрея.

— Знакомы ли вы с Буташевичем-Петрашевским? — спросили его.

— Нет, я Петрашевского не знаю, — отвечал Андрей Михайлович, и вправду совсем не причастный к делам старших братьев, — а как, ваше превосходительство, назвали другого?

Он решил, что у него спрашивают о двух разных людях. Следователи поняли, что Антонелли напутал и что Достоевского-младшего арестовали напрасно. Навели справки. Андрея Достоевского выпустили, а вместо него забрали Михаила.

Мысль о брате неотступно мучила Федора Михайловича. Он написал в следственную комиссию: «Брат мой Михайло Достоевский познакомился с Петрашевским тоже через меня, когда жил со мною вместе по приезде из Ревеля. Петрашевского он увидел в первый раз у меня и был приглашен им на вечер; я повел брата, чтобы доставить ему знакомство и развлечение; ибо по приезде из Ревеля он никого не знал в Петербурге и скучал по своем семействе... В этом знакомстве я виноват, а вместе в несчастии брата и семейства его. Ибо если я и другие в эти два месяца заключения вытерпели только тоску и скуку, то он выстрадал в десять раз более в сравнении с нами; он от природы сложения слабого, наклонен к чахотке и сверх того мучается душой о погибшем семействе своем, которое должно буквально и неизбежно погибнуть с тоски, лишений и голода в его отсутствие. И потому этот арест должен быть для него буквально казнью, тогда как виновен он менее всех. Я считал себя обязанным сказать это...»

Бесконечно долгими днями, бессонными ночами он не раз и не два спрашивал себя: прав ли он был, когда уговаривал брата бросить опостылевшую службу и перебраться в Петербург? Неужто не прав, если здесь, в столице, Михаил зажил новой жизнью, если, наконец, отдался родной его сердцу литературе — и с какой радостью, с какой надеждой!.. Михаил написал повесть, начал роман, переводил, сочинял статьи для «Отечественных записок» и еще успевал преподавать русскую словесность в женском Кузнецовском училище. И теперь это обернулось несчастьем для брата. Зачем только он позволил ему бывать у Петрашевского! Михаилу не должно было рисковать. Но и то сказать, как же быть писателем и не жить? А жить — это и значит всегда рисковать. Вот хоть он сам — как вечера у Петрашевского, а потом их Тайное общество поднимали, очищали его душу, в то самое время, когда он писал «Белые ночи» и «Неточку Незванову».

«Неточка»... Неоконченный роман не давал покоя. Едва получив разрешение писать на волю, Достоевский просил брата Андрея: «У брата Михайлы есть билет на получение «Отечественных записок». Майский номер нынешнего года, должно быть, еще не взят. Попроси билет у Эмилии Федоровны, возьми для меня книгу и перешли мне ее. Там напечатана третья часть моего романа, но без меня, без моего надзора, так что я даже и корректур не видал. Я беспокоюсь: что-то они там напечатали и не исказили ли роман? Так пришли мне этот том».

Сознание того, что от его участи зависит и участь неоконченного его

романа и многих других, уже задуманных им произведений, которые он обязан, которые просто не может не написать, — эта мысль не позволяла унывать, заставляла надеяться и бороться: не ради себя, ради них — не написанных еще его романов...

## «Я вел себя перед судом честно»

Из показаний Михаила Достоевского, а также из показаний многих арестованных, следственная комиссия усмотрела, что Михаил Михайлович на собраниях у Петрашевского бывал редко, речей там не произносил, обыкновенно вовсе молчал, а иной раз даже удерживал других от очень уж резких суждений. Поскольку при всем старании комиссии не удалось узнать ни о каких действиях или хотя бы словах, которые можно было бы вменить ему в вину, решено было Достоевского-старшего из заключения освободить, оставив его, однако, под тайным надзором полиции.

Как-то в конце июня Федора Михайловича вызвали в комендантский дом и там сообщили ему об освобождении брата. А вскоре он получил от Михаила весточку: «...Милый друг мой, как бы хотелось мне, чтоб из письма этого ты мог вычитать хоть строчку утешения для себя. Я знаю, что для твоего доброго и великодушного сердца будет отрадно узнать, что я уже две недели живу в кругу своего семейства... Я уверен, что во все это несчастное для нас время ты думал и скорбел обо мне более, чем о себе... Я уверен в этом, потому что я знаю тебя, знаю любовь твою и дружбу к себе... В эти две недели мне часто случалось ощущать минуты невыразимого счастия и каждый раз воспоминание о тебе наводило на меня грусть и тоску. Я думал тогда о твоем болезненном состоянии, и о впечатлительности твоей, которая по необходимости должна удваивать твои страдания».

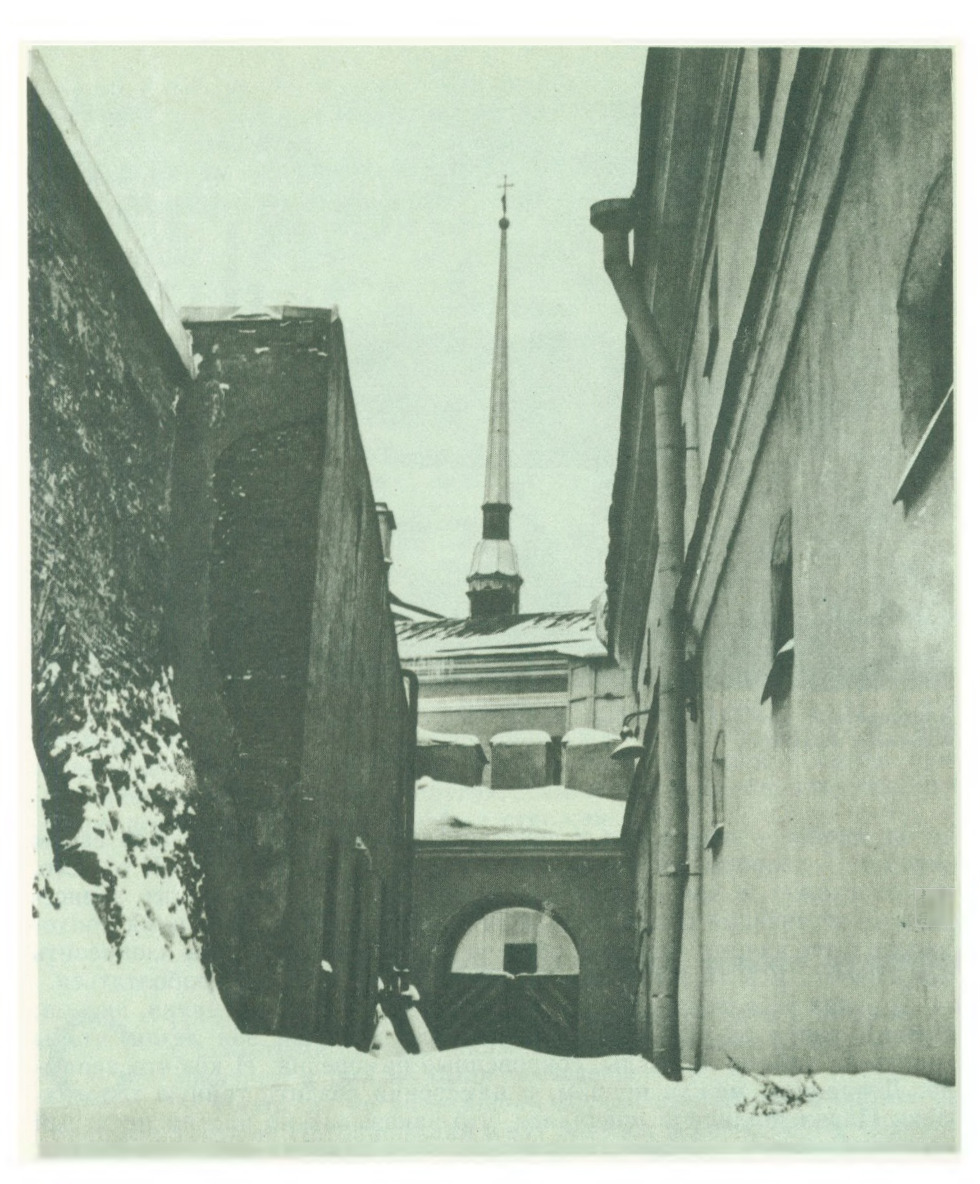
Федор Михайлович отвечал: «...Конечно, скучно и тошно, да что же делать? Впрочем, не всегда и скучно. Вообще, мое время идет чрезвычайно неровно, — то слишком скоро, то тянется. Другой раз даже чувствуешь, как будто уже привык к такой жизни и что все равно. Я, конечно, гоню все соблазны от воображения, но другой раз с ними не справишься, и прежняя жизнь так и ломится в душу с прежними впечатлениями, и прошлое переживается снова. Да, впрочем, это в порядке вещей. Теперь ясные дни, большею частию по крайней мере и немножко веселее стало. Но ненастные дни невыносимы, каземат смотрит суровее. У меня есть и занятия. Я времени даром не терял: выдумал три повести и два романа; один из них пишу теперь...»

На третьем месяце заключения ему разрешили писать. Он начал было роман, но вскоре оставил. Принялся за повесть. Назвал ее «Детская сказка» (потом дал ей другое имя — «Маленький герой»). В повести его речь шла о мальчике одиннадцати лет. Место действия — богатое подмосковное имение, куда в летнее время собралась пестрая толпа богатых веселящихся гостей. Праздники, развлечения... Робкий мальчик, впервые в жизни оказавшийся в столь блестящем и шумном обществе, захвачен, ошеломлен какими-то новыми, дотоле незнакомыми чувствами. Среди множества светских красавиц, чьи голоса и смех непрестанно оглашают старинный помещичий «замок», воображение мальчика пленяет одна — самая прекрасная и притом страдающая молодая женщина. В сердце ребенка рождается самоотверженная, высокая страсть.

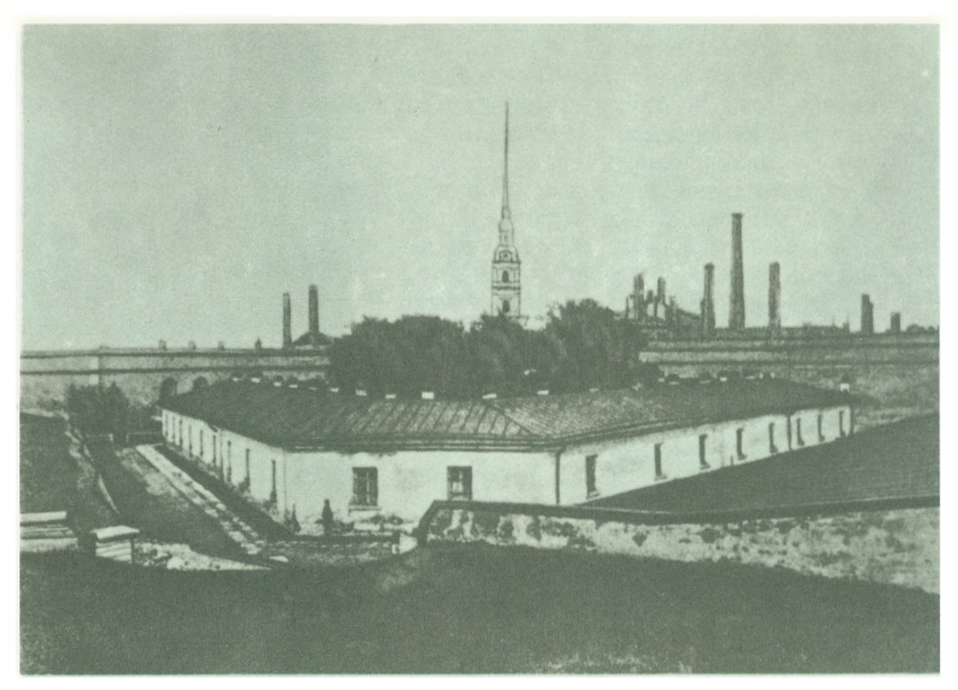
Солнце, веселье, нежность, красота — в этот мир, не подвластный никаким тюремным смотрителям, на несколько часов в день переселялся теперь узник Алексеевского равелина. Часы работы дарили его душе несказанную отраду, но сильнейшее нервное возбуждение порою оказывалось ему не по силам. «...Боюсь работать много, — писал Достоевский брату. — Эта работа, особенно если она делается с охотою (а я никогда не работал так con amore, как теперь), всегда изнуряла меня, действуя на нервы. Когда я работал на свободе, мне нужно было непрерывно прерывать себя развлечениями, а здесь волнение после письма должно проходить само собою». Месяц спустя он жаловался: «...Нервы мои расстраиваются. Когда такое нервное время находило на меня прежде, то я пользовался им, чтобы писать, — всегда в таком состоянии напишешь лучше и больше, но теперь воздерживаюсь, чтобы не доконать себя окончательно. У меня был промежуток недели в три, в котором я ничего не писал; теперь опять начал».

Единственно, что успокаивало его, что помогало перебить, как он говорил, свои напряженные думы чужими мыслями, — это чтение. Михаил прислал ему драмы Шекспира в русском переводе, свежие тома «Отечественных записок». Великого англичанина он перечитывал не торопясь, а журналы поглощал с жадностью, прочитывал от доски до доски. Особенно понравились ему роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр», перевод которого шел из номера в номер, и историческое исследование о завоевании Перу испанцами. Из тюремной библиотеки Достоевскому выдали два описания путешествий к святым местам и сочинения святого Димитрия Ростовского: изданий иного рода здесь не держали. «Книги, хоть капля в море, но все-таки помогают». Он не просто читал, он точно бы разговаривал с людьми, сообщавшими ему свои мысли. То соглашался, то горячо спорил. И порою вовсе забывал, где находится...

Скрежет ключа в замке и голос тюремного надзирателя: «Пожалуй-



Уголок крепости.
*Фотография.*



Алексеевский равелин Петропавловской крепости. «Секретный дом».
*Фотография конца XIXв.*

те за мной!» — возвращал к действительности. Следствие шло своим чередом — допросы, письменные показания, снова допросы. И от того, что он скажет, в чем сознается и о чем умолчит, что ответит, зависела его собственная будущность и судьба товарищей. Все время приходилось быть начеку, чтобы не сбиться, не запутаться, чтобы изобразить искренность и в то же время не сказать лишнего, не проболтаться.

В руках у следователей были доносы Антонелли, дневники, письма, бумаги, книги заключенных. Следователи из кожи вон лезли, чтобы узнать их тайные помыслы, сокровенные намерения. И кое-что всплыло. Дознались, между прочим, о намерении создать тайную типографию. Павел Филиппов признался, что заказывал по частям печатный станок. Спешнев, однако, решительно взял вину на себя, утверждая, что Филиппов действовал по его просьбе и все устраивал на его деньги. Снарядили новые обыски, но типографского станка так и не нашли. Дело в том, что станок в разобранном виде хранился у одного из чле-

нов Тайного общества, в его кабинете, где стояло множество всевозможных физических приборов и машин. При первом обыске его не заметили. По уходе жандармов, опечатавших кабинет, родственники арестованного осторожно, не повредив печати, сняли дверь с петель, вынесли станок, а затем навесили дверь обратно на место.

Подозревая существование Тайного общества, следователи тем не менее никак не могли напасть на его след. Достоевский на вопрос о тайной организации отвечал кратко: «Ни о чем подобном не знаю. . .»

Высочайше учрежденной комиссии иной раз удавалось уличить Достоевского в умолчании, в неточности и неполноте показаний. Он в таких случаях неизменно ссылался на свою забывчивость и повторял без устали: ничего противозаконного в кружке Петрашевского не замышляли, а если что и было, то он, Федор Достоевский, об этом не знал.

Он вступил со своими следователями в опасный и трудный поединок. И притом, как мог, выгораживал товарищей. В своих показаниях он распространялся о молодости и юношеской горячности Филиппова и Головинского и просил для них снисхождения, заверяя, что знает их с самой лучшей стороны. Он пустился в подробнейший разбор характера Петрашевского, выставляя его странным, даже смешным, но благородным чудаком, этаким Дон Кихотом.

Смелость суждений и упорное «запирательство» Достоевского чрезвычайно раздражали следственную комиссию. Отказавшийся от роли благожелателя генерал Ростовцев отзывался о нем: «Умный, независимый, упрямый и хитрый».

И Достоевский имел полное право впоследствии сказать: «. . .Я вел себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других. . . Но я поверил себе, я не сознавался во всем и за это наказан был строже».

## «Вечное думанье и одно только думанье»

С Петрашевским и его товарищами обходились в тюрьме как с завзятыми преступниками. Между тем вина их еще не была доказана и они не были осуждены.

Никогда не упускавший случая протестовать против нарушения законов, Петрашевский и тут остался верен себе. Он обратился в следственную комиссию с жалобой, где доказывал, что одиночное заключение может пагубно отразиться на физическом и особенно на душевном здоровье людей нервных и впечатлительных. Он, между про-

чим, указывал следователям на «нервическую раздражительность» Достоевского и добавлял: «Не забудьте, что большие таланты (талант Достоевского не из маленьких в нашей литературе) есть собственность общественная, достояние народное. Что если вместо талантливых людей, оклеветанных, по окончании следствия будет несколько помешанных? Чтоб этого не могло быть — от вас зависит».

Но ни жалобы, ни увещевания не возымели на следственную комиссию никакого действия.

Правда, поначалу — было это в мае — узников Алексеевского равелина на несколько минут в день выводили гулять. В сопровождении солдата-конвоира Достоевский кружил по маленькому тюремному дворику. Как упоительно было после каменных плит каземата почувствовать под ногами теплую землю! Как радостно было видеть живые деревья! Он не раз пересчитывал — их росло здесь семнадцать. Свежая зелень на фоне высоких каменных стен напоминала ему Ревель: его поездки к брату по весне. А еще в памяти вставал садик возле Инженерного замка, откуда тоже нельзя было выйти без спросу. «Мне все казалось. . . — писал он Михаилу, — что и ты делаешь это сравнение. . .» Но вскоре и такого невинного удовольствия они были лишены: прогулки запретили. Выводили только на допросы.

Долгое время заключенным не давали в камеры свечей. Достоевского мучила бессонница, и эти часы, когда он лежал в темноте без сна и слушал дальний бой соборных курантов, были едва ли не самыми тяжкими. . .

К концу лета им снова разрешили гулять в тюремном дворике, позволили жечь свечи по вечерам. Но несколько месяцев в сырой одиночке не прошли бесследно. В груди появились боли, которых не бывало прежде. Пропал аппетит. По временам Достоевскому начинало казаться, что пол в его камере колышется, как в пароходной каюте. А тут еще подступила петербургская осень и всегда-то имевшая на него влияние гнетущее, мрачное.

«Вот уже пять месяцев, без малого, как я живу своими средствами, то есть одной своей головой и больше ничем. Покамест еще машина не развинтилась и действует. Впрочем, вечное думанье и одно только думанье, без всяких внешних впечатлений, чтоб возрождать и поддерживать думу — тяжело! Я весь как будто под воздушным насосом, из-под которого воздух вытягивают. Все из меня ушло в голову, а из головы в мысль, все, решительно все, и несмотря на то, что работа с каждым днем увеличивается».

В его крошечном, переплетенном тройной решеткою небе потянулись рваные серые облака, зарядил бесконечный осенний дождичек. И мучительную тоску не скрашивали уже те нежные слова участия, что прежде слал ему с воли брат, — переписку с родными запретили.

Узнику Алексеевского равелина не мудрено было лишиться разума. Мрачное предчувствие не обмануло Петрашевского — трое из его товарищей заболели в тюрьме тяжелым нервным расстройством. Но Достоевский не сломился — напротив, явил столько выдержки, хладнокровия, как самые мужественные из петрашевцев.

Федор Михайлович обладал редкой душевной стойкостью, всегда проявлявшейся в самые тяжкие минуты жизни. Этим он был похож на мать. Даже во время последней своей болезни, зная, что умирает, Мария Федоровна нашла в себе силы утешать потерявшего голову мужа. Исхудавшая, коротко остриженная — уже не могла расчесывать густые длинные волосы — она ласково беседовала с детьми, просила почитать ей стихи. И теперь ее сын, заключенный в одиночку «Секретного дома», так же бестрепетно нес свой крест.

Во все время заключения арестанты пребывали в тягостной неизвестности — когда кончится дело и чем оно может кончиться. К началу октября следственная комиссия завершила «следственное производство», которое заняло более девяти тысяч листов бумаги, и передала собранные материалы специально назначенной военно-судной комиссии. Во главе ее царь поставил министра внутренних дел генерала Перовского — того самого, что направил Липранди и его агентов по следам Петрашевского. Желая возвеличить свои заслуги перед отечеством, Перовский утверждал, что его стараниями открыт опаснейший заговор, грозивший чуть ли не гибелью целой России. Николай I, напуганный революцией в Европе, готов был верить ретивому министру. Во всяком случае, поручив ему судить петрашевцев, царь не сомневался, что Перовский не преминет обратить против них всю строгость военно-полевых законов. Беспощадной расправой с Петрашевским и его товарищами Николай желал преподать грозный урок всей этой вольнодумной молодежи, всем российским поклонникам западных социальных теорий и утопий.

Военный суд шел при закрытых дверях и продолжался шесть недель. Шестнадцатого ноября вынесенный судом приговор был передан на заключение генерал-аудитору, то есть верховному прокурору. Насчет отставного инженер-поручика Федора Достоевского приговор гласил: «Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсудимого) копию с преступного письма литератора Белинского — читал это письмо на собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского и, наконец, передал его для списания копий подсудимому Момбелли. Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием «Солдатская беседа». А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за

недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, — лишить, на основании Свода Военных постановлений ч. V кн. I ст. 142, 144, 169, 170, 172, 174, 176, 177 и 178, чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Генерал-аудитор приговор Военного суда утвердил, назначив смертную казнь двадцати одному осужденному. Свое решение генерал-аудитор объяснял так: «. . .Хотя степень виновности их различная, ибо одни из них более, другие менее принимали участие в злоумышлении, но как все они суждены по Полевому Уголовному Уложению, в преступлениях же государственных, по точной силе наших законов, не постановлено различия между главными виновниками и соучастниками, то на основании сего Уложения, генерал-аудитор полагает: всех сих подсудимых. . . подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Однако, как это ему заранее было предписано, генерал-аудитор обратился к царю с просьбой о помиловании осужденных и предложил заменить смертную казнь другими наказаниями. В частности, подсудимого Достоевского предложено было сослать в каторгу на восемь лет.

Генерал-аудитор нарочно определял наказания весьма суровые, чтобы царь мог с легкостию явить свое «милосердие». Так, на приговоре Достоевскому Николай I начертал: «На четыре года, а потом рядовым».

Впрочем, в иных случаях царь счел слишком мягкой кару, назначенную генерал-аудитором. Ивану Ястржембскому, на которого Антонелли донес, что тот злословил императора и называл его «богдыханом», Николай значительно увеличил срок каторжных работ.

Избавив осужденных от смерти, царь тем не менее распорядился инсценировать казнь и, не прежде чем на «преступников» будут уже наведены ружейные стволы, прочесть им настоящий приговор.

С наслаждением истого театрала — Николай обожал представления и в молодости даже ставил любительские спектакли и сам играл в них — самодержец лично разрабатывал все мизансцены придуманного им зловещего фарса. Дабы осужденные на смерть успели вполне восчувствовать свое положение, Николай приказал у них на глазах рыть им могилы. С трудом приближенные уговорили царя отказаться от этой затеи. Казнь решено было инсценировать на площади в центре Петербурга, и очень уж странно было бы делать вид, что прямо тут, посреди города, похоронят преступников. Но и без рытья могил сочиненная царем процедура обещала быть достаточно изуверской и гнусной. . .

Петрашевскому и его товарищам, восемь месяцев сносившим царский гнев, теперь предстояло испытать, что же такое царская милость.

## «Подвергнуть смертной казни расстрелянием»

Ранним утром 22 декабря, едва проснувшись, Достоевский услыхал какое-то небывалое движение в тюремном коридоре: проходили туда-сюда крепостные служители, слышались голоса. Вдруг зазвенели связки ключей и стали отворять одну за другой камеры заключенных. Вошли к нему — офицер и тюремщик. Принесли его платье — то, в котором его арестовали, — и еще теплые толстые чулки.

— Одевайтесь, — сказал офицер, — и чулки не забудьте. На улице морозно.

— Для чего это? Куда нас повезут?

— Увидите.

Офицер вышел. Едва Достоевский был готов, сторож выпустил его в коридор. Под конвоем повели к выходу. У крыльца стояло несколько узких двухместных карет. Далее — эскадроны жандармов с саблями наголо. Солдат отворил дверцу кареты. Достоевский сел, солдат поместился рядом. Карета тронулась. Колеса скрипели, хрустел глубокий снег.

— Куда это мы едем?

— Не могу знать.

Стекла кареты покрыты были морозным узором. Достоевский ногтем стал соскребать иней и дышать на стекло. Приникнув к оттаявшему глазку, он различал знакомые места. Вот они переехали Неву, вот теперь едут по Воскресенскому проспекту... В самом деле, куда это их везут? Зачем эти чулки? Карета свернула в Кирочную, потом на Знаменскую...

Небо быстро светлело. Над крышами домов поднимались столбы густого дыма только что затопленных печей. Народ шел с рынков. Вот Лиговский, вот Обводный канал. Они свернули направо, немного проехали и встали.

— Выходи!

Их привезли на Семеновский плац — обширную площадь перед казармами лейб-гвардии Семеновского полка. Масса войск — пеших и конных, выстроенных четырехугольником, каре, чернела посреди заснеженной площади. Утро было холодное, ясное, тихое. Огромный красный шар солнца висел низко над землей в морозном тумане.

Кто-то рядом сказал:

— Вот туда ступайте.

Он сделал несколько шагов вперед и увидел вдалеке, за рядами войск, странную постройку — помост, обтянутый черной тканью, и



Казнь петрашевцев на Семеновском плацу в Петербурге.
*Рисунок Б. Покровского.*

перед помостом три врытые в землю столба... Эшафот!.. Значит — казнь?..

Возле прибывших карет столпились несколько человек в штатском. Они!.. Петрашевский, Спешнев, Филиппов, Плещеев, Момбелли... Лица бледные, худые, измученные, многие обросли бородой. Он побежал к ним, спотыкаясь. Вот так встреча! Все говорили разом, обнимались, смеялись.

Подскакал усатый генерал и зычно крикнул:

— Теперь нечего прощаться!

На него взглянули с недоумением: почему — прощаться?

— Становите их, — приказал генерал.

Явился чиновник со списком в руках и начал выкликать каждого по фамилии. Впереди был поставлен Петрашевский, за ним Спешнев, потом Момбелли — всего двадцать три человека. Подошел священник с крестом в руке и, став перед ними, возгласил:

— Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела. Последуйте за мной!

Священник, неся перед собой крест, пошел вдоль рядов войск. Они гуськом, прямо по глубокому снегу, двинулись за ним. На ходу переговаривались:

— Что будут делать?

— Для чего ведут по снегу?

— Что за столбы у эшафота?

— Привязывать будут — военный суд, казнь расстрелянием...

— Неизвестно, что будет. Вероятно, всех на каторгу.

Процессия подошла к эшафоту. Их взвели на помост. Следом поднялись солдаты и стали за спинами. Раздалась команда:

— На кара-ул!

Блеснули взметнувшиеся вверх штыки.

— Шапки долой! — приказал офицер. — Снять шапки! Будут конфирмацию читать!

На эшафот взошел чиновник. Становясь против каждого из осужденных, он читал изложение вины и приговор. Читал быстро и невнятно.

— ...Отставного инженер-поручика Федора Достоевского двадцати семи лет... преступных замыслах, за распространение частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти...

Стоять на морозе неподвижно было холодно, коченели руки и ноги. Старая изношенная шинель — даром что на вате — грела плохо. Его бил озноб.

— ...За покушение к распространению... сочинений против правительства... на основании Свода Военных постановлений... и подвергнуть смертной казни расстрелянием...

Значит — смерть?.. Но как же?.. Как в них станут стрелять? Посреди площади? На виду у всех?.. В эту первую минуту приговор скорее изумил, чем испугал его.

— ...И девятнадцатого сего декабря, — выкрикивал охрипший уже чиновник, — государь император на приговоре собственноручно написать соизволил: «Быть посему».

По площади прокатилась гулкая барабанная дробь. На помост поднялся священник — тот самый, что привел их сюда.

— Братья! Перед смертью надо покаяться... Кающемуся спаситель прощает грехи... Я призываю вас к исповеди...

Никто не отозвался. Священник, растерявшись, повторил свой призыв. Снова молчание. Нет, преступники не желали каяться...

«Мы, петрашевцы,—рассказывал впоследствии Достоевский,—стояли на эшафоте и выслушивали приговор без малейшего раскаяния.

Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех, но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас сочло бы за бесчестье отречься от своих убеждений... Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстрелянием, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно-страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь — может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат втайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те понятия, которые владели нашим духом, — представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится!..»

Принесли длинные белые балахоны с капюшонами — одеяние смертников — и стали их обряжать. Это походило на дикий маскарад: белые фигуры с рукавами, болтающимися до земли, как у Пьеро. Раздался громкий смех Петрашевского:

— Господа!.. Хороши мы в этих нарядах!..

Солдаты взяли под руки Петрашевского, Григорьева и Момбелли и свели их с эшафота. Их поставили возле врытых в землю столбов, длинными рукавами стянули за спиною руки и стали привязывать веревками.

В числе следующих трех должны были идти Дуров, Плещеев и он, Достоевский. Значит — сейчас смерть. Он обнял Дурова, обнял и поцеловал Плещеева...

Три взвода солдат, четко маршируя, подошли и остановились против столбов. Офицер скомандовал:

— К заряду!

Перед глазами встали разом, мешаясь и тесня друг друга, множество лиц и картин. Он видел Даровое, видел затуманенные печалью глаза Панаевой, видел какую-то кривую ревельскую улочку, где бродили они с братом Мишей в ту весну — после «Бедных людей»... А вот он уже стоит на пароходе и брат машет ему с берега, все разрастается полоса воды между ними, уже не вернуться, не перешагнуть, не доплыть... «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь!.. Какая бесконечность!..»

Лязгнули ружейные затворы.

— Колпаки надвинуть на глаза!

Но Петрашевский, мотнув головой, сбрасывает дурацкий капюшон:

— Я хочу смотреть смерти в лицо!

И снова команда:

— На прицел!

Солдаты наводят ружья на белые фигуры у столбов. Сейчас...

Над площадью тишина. Достоевский упорно, не отрываясь, глядит на сверкающий на солнце купол полковой церкви. Ему почему-то невозможно отвернуться от этих ужасно сверкающих солнечных лучей. Он весь поглощен созерцанием этого режущего света. Ему начинает казаться, что сияющие лучи каким-то образом сродни ему самому. Сейчас, через какую-нибудь минуту он, пожалуй, сольется с ними — и тогда...

Но время остановилось. Замерли солдаты. Замерла команда «Пли!» на устах офицера. Тишина. Только колотится сердце...

И вдруг снова несется раскат барабанной дроби. Что это? Солдаты опускают ружья.

Петрашевского, Григорьева и Момбелли отвязывают от столбов. Вот они подымаются на эшафот. В руках у генерала, распоряжающегося казнью, какая-то бумага. Кто-то говорит:

— Помилование.

Дуров, стоящий рядом с Достоевским, дерзко кричит:

— Кто просил?

Петрашевский встряхивает гривой волос и бросает в адрес царя:

— Вечно со своими неуместными экспромтами.

Достоевский чувствует страшную усталость, которая придавила поднимающееся в душе торжество: «Значит, не посмели расстрелять!»

Аудитор читает новый — уже настоящий — приговор:

— ...Отставного инженер-поручика Федора Достоевского... в каторжную работу в крепостях на четыре года, а потом в рядовые.

Вдруг припомнилось, как отец кричал на него, мальчишку: «Уймись, Федя! Попадешь ты под красную шапку!» Вот и в самом деле попал.

На помост поднимаются двое палачей в каких-то прадедовских кафтанах. Осужденных на каторгу и в солдаты ставят на колени и у каждого над головой переламывают заранее подпиленную шпагу — в знак лишения дворянских прав. Потом приносят арестантские шапки, овчинные тулупы и сапоги. Тулупы разрешено надеть, а сапоги велено держать в руках.

Являются кузнецы. На доски эшафота с грохотом падают железные кандалы. Петрашевского приказано отправить в Сибирь прямо с места казни. Его стали заковывать. Кузнецы, надев ему на ноги железные кольца, принялись заклепывать гвозди. Петрашевский взял тяжелый молоток у одного из них, сел на помост и стал заковывать себя сам.

К эшафоту подъехала кибитка, запряженная курьерской тройкой, из нее выскочили фельдъегерь и жандарм. Усатый генерал указал на Петрашевского.

— Я еще не окончил все дела, — спокойно сказал Петрашевский.

Генерал опешил:

— Какие у вас еще дела?

— Я хочу проститься с моими товарищами.

— Это вы можете сделать.

С трудом ступая в тяжелых кандалах, Петрашевский подходил к каждому и каждого целовал на разлуку.

— Это драгоценное ожерелье, — сказал он, указывая на свои кандалы, — которое выработала нам мудрость Запада, дух века, всюду проникающий, а надела на нас торжественно любовь к человечеству...

Он низко поклонился всем, сошел, гремя цепями, с эшафота и сел в кибитку. Через минуту она скрылась из глаз.

Остальным осужденным объявили, что их покуда отвезут обратно в крепость.

## «Я не потеряю надежду!»

Едва вернувшись в свою камеру, Достоевский сел писать письмо Михаилу. Душа была полна всем пережитым в это утро.

«22 декабря 1849 г.

Брат, любезный друг мой! все решено! Я приговорен к 4-х летним работам в крепости (кажется, Оренбургской) и потом в рядовые. Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головами шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле и проститься с ними. Наконец, ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. Один Пальм прощен, его тем же чином в армию.

Сейчас мне сказали, любезный брат, что нам сегодня или завтра отправляться в поход. Я просил видеться с тобою. Но мне сказали, что



Петропавловская крепость. Ворота.
*Фотография.*

это невозможно; могу только я тебе написать это письмо, по которому поторопись и ты дать мне поскорее отзыв. Я боюсь, что тебе был как-нибудь известен наш приговор (к смерти). Из окон кареты, когда везли на Семеновский плац, я видел бездну народа; может быть, весть прошла уже и до тебя, и ты страдал за меня. Теперь тебе будет легче за меня. Брат! Я не уныл и не пал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди и быть *человеком* между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да! правда! Та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая сознала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные

мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это все-таки жизнь. On voit le soleil! Ну, прощай, брат! Обо мне не тужи!..

Целуй жену свою и детей. Напоминай им обо мне; сделай так, чтобы они меня не забывали. Может быть, когда-нибудь увидимся мы?! Брат, береги себя и семью, живи тихо и предвиденно. Думай о будущем детей твоих... Живи положительно. Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет ли тело: не знаю. Я отправляюсь нездоровый, у меня золотуха. Но авось либо! Брат, я уже переиспытал столько в жизни, что теперь меня мало что устрашит. Будь, что будет! При первой возможности уведомлю тебя о себе. Скажи Майковым мой прощальный и последний привет. Скажи, что я их всех благодарю за их постоянное участие к моей судьбе. Скажи несколько слов, как можно более теплых, что тебе самому сердце скажет, за меня Евгении Петровне. Я ей желаю много счастья и с благодарным уважением всегда буду помнить о ней. Пожми руку Николаю Аполлоновичу и Аполлону Майкову, а затем и всем. Отыщи Яновского. Пожми ему руку, поблагодари его. Наконец, всем, кто обо мне не забыл. А кто забыл, напомни. Поцелуй брата Колю. Напиши письмо брату Андрею и уведомь его обо мне. Напиши дяде и тетке... Напиши сестрам: им желаю счастья!

А, может быть, и увидимся, брат. Береги себя, доживи, ради бога, до свидания со мной. Авось когда-нибудь обнимем друг друга и вспомним наше молодое, наше прежнее, золотое время, нашу молодость и надежды наши, которые я в это мгновенье вырываю из сердца моего с кровью и хороню их.

Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю через 4 года будет возможность. Я перешлю тебе все, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках!..

Но не тужи, ради бога, не тужи обо мне! Знай, что я не уныл, помни, что надежда меня не покинула. Через четыре года будет облегчение судьбы. Я буду рядовой — это уже не арестант, и имей в виду, что когда-нибудь я тебя обниму. Ведь был же я сегодня у смерти три четверти часа, прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!..

Что-то ты делаешь? Что-то ты думал сегодня? Знаешь ли ты об нас? Как сегодня было холодно!

Ах, кабы мое письмо поскорее дошло до тебя. Иначе я месяца четыре буду без вести об тебе. Я видел пакеты, в которых ты присылал

в последние два месяца деньги; адрес был написан твоей рукой, и я радовался, что ты был здоров.

Как оглянусь на прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Si jeunesse savait! Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте...

Прощай, прощай, брат! Когда-то я тебе еще напишу! Получишь от меня сколько возможно подробнейший отчет о моем путешествии. Кабы только сохранить здоровье, а там и все хорошо!

Ну, прощай, прощай, брат! Крепко обнимаю тебя, крепко целую. Помни меня без боли в сердце. Не печалься, пожалуйста, не печалься обо мне! В следующем же письме напишу тебе, каково мне жить. Помни же, что я говорил тебе: рассчитай свою жизнь, не трать ее, устрой свою судьбу, думай о детях. — Ох, когда бы, когда бы тебя увидать!..»

Между тем Михаил Михайлович, одержимый столь же отчаянным желанием видеть брата, бегал по начальству и умолял о дозволении свидания. Прямого запрещения от царя допустить свидание осужденных с родственниками не было. Но не было также и разрешения. В конце концов, комендант Петропавловской крепости генерал Набоков махнул рукой и позволил.

Вечером 24 декабря Михаил Михайлович явился к дежурному плац-майору. Его провели в большую комнату в первом этаже комендантского дома и велели подождать. Прошло около получаса. Наконец дверь отворилась, за нею брякнули ружейные приклады — и в сопровождении офицера вошел Федор Михайлович. На нем было дорожное арестантское платье — полушубок и валенки.

— Брат!

Они обнялись. Старший чуть не плакал. Младший был спокоен. Федор первым делом стал расспрашивать Михаила, как перенес тот свое заключение, о жене, о детях, об их здоровье и занятиях.

— Пиши ко мне чаще, — просил Федор Михайлович, — распространяйся в каждом письме о семейных подробностях, о мелочах, не забудь этого — это даст мне надежду на жизнь. Если б ты знал, как оживляли меня здесь, в каземате, твои письма!..

В глазах у Михаила стояли слезы, губы его дрожали. Федор утешал его:

— Перестань, брат! Ты знаешь меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь. И в каторге не звери, а люди... Да мы еще увидимся, я надеюсь на это, — я даже не сомневаюсь, что увидимся...

Зазвонили колокольчики на крепостных часах. Вошедший плац-майор объявил, что время расстаться.

Достоевского, а вместе с ним Дурова и Ястржембского, которых тоже в эту ночь увозили в Сибирь, повели заковывать в кандалы. Их посадили в открытые сани — каждого отдельно, с жандармом,— а на передних санях поместился фельдъегерь. Когда миновали ворота крепости, Достоевский увидел Михаила, махавшего им рукой.

— Прощайте!

— До свидания!

Их везли по ночному городу. Был сочельник, и многие дома были празднично освещены. Достоевский мысленно прощался со знакомыми улицами и домами. Вот и застава — впереди снежная дорога в несколько тысяч верст...

Пройдут еще долгие десять лет, прежде чем Федор Достоевский вернется в Петербург и напишет свои великие произведения, принесшие ему мировую славу.

## Здесь начинался Достоевский

Много лет прошло с тех пор, как по сумрачным петербургским улицам бродил коренастый юноша с бледным лицом и внимательным, сосредоточенным взглядом. Много белых ночей промелькнуло с той памятной ночи, когда он осознал себя писателем. Много воды утекло с той поры в Неве, много событий потрясало Россию. Но незыблемой остается память о великих подвижниках, тех, кто своим всепроникающим словом подрывал самые основы несправедливой, жестокой российской действительности, тех, кто заставлял мучительно страдать за униженного и попранного человека.

Федор Достоевский начинал свое поприще на берегах Невы. Об этом напоминают дома и улицы, где он жил и творил, где встречался с друзьями, черпал наблюдения. Его помнят Фонтанка и Крюков канал, некогда захолустная Коломна, угрюмая Петропавловская крепость и бывший Семеновский плац.

Петербург Достоевского — город «Бедных людей» и «Белых ночей» — стал достоянием истории. Но его нельзя забыть, как нельзя вычеркнуть из книги жизни даже самые трагические страницы.

До сих пор в самом центре Ленинграда стоит Инженерный замок, где прошли годы юности Достоевского. Внешне замок сохранил свой старинный облик и внутри он местами не утратил своей прежней от-



Пионерская площадь на месте старого Семеновского плаца.
*Фотография.*

делки. Почти тот же вид открывается из углового окна «круглой камеры» второго этажа — окна, подле которого любил сидеть, склонившись над книгами и тетрадями, то погруженный в науки, то предаваясь разнообразным вымыслам, кондуктор Достоевский.

По разным обстоятельствам, а главным образом, по свойствам своей беспокойной натуры, молодой писатель, начиная с 1841 года, когда, перейдя в офицерские классы, он получил право жить вне стен училища, и до 1849 года, когда его заточили в Алексеевский равелин, сменил семь квартир.

Простой трехэтажный дом на углу Владимирского проспекта и бывшего Графского переулка, где Федор Михайлович прожил около четырех лет, где писал он «Бедных людей», впервые белой ночью познакомился с пришедшим к нему Некрасовым, сохранился снаружи почти без изменений. Этот добротный невысокий дом был свидетелем рождения великого писателя. Теперь это дом № 11 по Владимирскому проспекту. И, как в былые годы, из окон его видна Владимирская церковь с высокой колокольней.

Сохранился и бывший дом Солошича на Большом проспекте Васильевского острова, где Достоевский и братья Бекетовы жили «ассоциацией», ведя общее хозяйство и мечтая о лучшем будущем человечества. Это дом № 4 по Большому проспекту Васильевского острова.



Улица Достоевского.
*Фотография.*

Только теперь он на один этаж выше: в нем не три, как было, а четыре этажа.

Как и в те далекие годы, на проспекте Майорова (бывшем Вознесенском) стоит трехэтажный массивный дом, построенный в благородном классическом стиле,—некогда дом Шиля, где последние два года до ареста жил Федор Михайлович. Снаружи дом такой же, как был. Здесь написаны «Белые ночи», продолжалась работа над «Неточкой Незвановой». Отсюда светлой апрельской ночью «государственного преступника» Федора Достоевского под конвоем жандармов везли в карете на Фонтанку к Цепному мосту — в «белый дом, своим известный праведным судом» — III отделение. Теперь дом Шиля — это дом № 8/23 по проспекту Майорова, угол улицы Гоголя (бывшей Малой Морской).

Огромный дом, некогда принадлежавший купцу Лопатину, где в середине сороковых годов прошлого века снимал квартиру Белинский, перестроен. Теперь этот дом № 68/40 по Невскому проспекту, угол набережной Фонтанки. Когда-то на этом углу, выйдя от Белинского, услыхав его одобрение, молодой писатель испытал величайшее счастье, пережил «самую восхитительную минуту» в своей жизни.

Дом, где помещалась кондитерская, в которой Достоевский впервые



В музее Ф. М. Достоевского. Кабинет.
*Фотография.*

встретил Петрашевского, — это дом № 18 по Невскому проспекту. Он сохранился в несколько перестроенном виде.

Деревянного домика Петрашевского в Коломне давно нет в помине. Теперь на его участке стоят большие каменные дома в конце Садовой улицы. С трудом верится, что некогда здесь, на плохо мощенных, сонных улицах, стояли жалкие домишки с огородами и дощатыми заборами. Коломна исчезла без следа. И только темная Фонтанка и неширокий Крюков канал так же неспешно текут в гранитных берегах.

Петропавловская крепость, куда были брошены петрашевцы, и поныне сурово возвышается над Невой, окруженная высокими гранитными стенами. Но теперь это — музей. Зловещего Алексеевского равелина не существует. И только пустые мрачные камеры-одиночки в тюрьме-музее Трубецкого бастиона напоминают о тех временах, когда здесь томились лучшие люди России.

Бывший Семеновский плац, где в царском Петербурге муштровали

солдат и производили экзекуции, где стоял на эшафоте Достоевский, ожидая казни, из грязного пыльного пустыря превратился в зеленую Пионерскую площадь. Здесь построено новое здание Ленинградского театра юных зрителей, воздвигнут памятник А. С. Грибоедову.

Имя Достоевского увековечено в Ленинграде. В его честь названа бывшая Ямская улица. На углу этой улицы и Кузнечного переулка стоит большой четырехэтажный дом, на фасаде которого укреплена мемориальная доска с бронзовым барельефом писателя. В этом доме он недолго жил в молодости, а потом провел последние годы своей жизни. Теперь здесь музей Достоевского. В залах этого музея есть рисунки, портреты, документы, связанные с молодыми годами писателя, журналы, где впервые печатались его сочинения, виды Петербурга того времени.

Но самым впечатляющим музеем, помогающим лучше понять творения Достоевского, остается сам город — его каналы и улицы, дома и дворы. И тот, кто силой воображения захочет перенестись во времена Достоевского, пусть прозрачной белой ночью выйдет на пустынную набережную Фонтанки или канала Грибоедова. Завороженный, очарованный, он услышит шаги Мечтателя...



## Оглавление

На суперобложке репродукция с картины С. Яремича «Екатерининский канал в Петербурге».

На фронтисписе — Ф. М. Достоевский
Рисунок К. Трутовского. 1847 г.

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Басина Марианна Яковлевна

СКВОЗЬ СУМРАК
БЕЛЫХ НОЧЕЙ

Ответственный редактор С. М. Туркова.
Художественный редактор А. В. Карпов.
Технический редактор Т. Д. Раткевич.
Корректоры К. Д. Немковская и Н. Н. Жукова.

ИБ 3763

Сдано в набор 25.01.79. Подписано к печати 17.07.79. Формат 70×90 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Шрифт литературный, печать офсетная. Печ. л. 14,5. Усл. печ. л. 16,96. Уч.-изд. л. 14,15. Тираж 100 000 экз. М-32434. Заказ № 681. Цена 1 р. 60 к. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 191187, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

**Басина М. Я.**

Б 27 Сквозь сумрак белых ночей. Документ. повесть. Оформление Г. Губанова, натурные фотографии Б. Смелова. Л., «Дет. лит.», 1979. — 231 с., ил. («По дорогим местам»).

В пер.: 1 р. 60 к.

Документальный рассказ о молодости великого русского писателя Ф. М. Достоевского, его окружении, друзьях и недругах, о связи всего его творчества с Петербургом. Третья часть трилогии М. Басиной «Великие обличители».

8Р1 (092)



1 р. 60 к.